



ЭЛДЖЕРНОН
БЛЭКВУД

Вендиго

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Элджернон Блэквуд

Вендиго

«Азбука-Аттикус»

1899-1927

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Блэквуд Э. Г.

Вендиго / Э. Г. Блэквуд — «Азбука-Аттикус»,
1899-1927 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-24475-7

Элджернон Блэквуд – один из самых известных писателей первой половины XX века, работающих в жанре мистики. Его романы, повести и рассказы принесли ему мировую известность и почетные награды, среди которых орден Британской империи. В числе его поклонников можно назвать Говарда Филлипса Лавкрафта, Кларка Эштона Смита, Рэмси Кэмпбелла, Генри Миллера и Джона Р. Р. Толкина. В настоящее издание вошли известные повести и рассказы Блэквуда, среди которых повесть «Ивы», столь превозносимая Лавкрафтом, а также повесть «Вендиго», пожалуй самое знаменитое произведение Блэквуда о жутком демоне, обитающем в канадских непролазных лесах.

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-24475-7

© Блэквуд Э. Г., 1899-1927
© Азбука-Аттикус, 1899-1927

Содержание

Вендиго	6
Ивы	39
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Элджернон Блэквуд Вендиго

Algernon BLACKWOOD
THE WENDIGO

© Н. Г. Кротовская, перевод, 2005

© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2005

© М. А. Макарова, перевод, 2005

© Е. О. Пучкова, перевод, 2005

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

Вендиго

Перевод Е. Пучковой

В том году едва ли не все охотники вернулись домой ни с чем и лишь немногим из них удалось-таки напасть на свежий след американского лося; животные вели себя пугливее обычного, и новоявленные Нимроды вынуждены были в кругу своих почтенных семей изощренно оправдываться, ссылаясь на действительные факты или на домыслы собственной фантазии. В числе неудачников был и доктор Кэскарт из Абердина, также вернувшийся с очередной охоты без единого трофея. Сам он, правда, неудачником себя не считал, потчует всех желающих интригующими рассказами о произошедшем с ним необычайном переживании, которое, как он утверждал, имело для него куда большую ценность, чем все красавцы-лоси, каких только довелось ему в жизни застрелить. Необыкновенная эта история не нашла, однако, никакого отражения на страницах написанной им книги «Массовые галлюцинации» – по той простой причине (в чем доктор однажды признался своему приятелю и коллеге), что сам он принял в ней слишком уж непосредственное участие, чтобы иметь право на сколько-нибудь беспристрастное и компетентное суждение о случившемся...

Помимо самого Кэскарта и местного проводника Хэнка Дэвиса, в группу охотников входили совсем молодой племянник доктора, Симпсон, студент-богослов, с первого же дня обреченный в канадской лесной глуши на прозвище Малютка Церковь, и Дефаго, проводник юноши. Давным-давно, еще когда строилась Канадская тихоокеанская железная дорога, французский канук Жозеф Дефаго отбил от родных корней в провинции Квебек и навсегда застрял на Крысиной переправе; несравненный знаток лесной жизни и местных обычаев, он умел бесподобно исполнять старинные песенки вояжеров¹ да к тому же рассказывать чудные охотничьи байки. В придачу ко всему был он чрезвычайно чувствителен к несравненному очарованию дикой природы, с особой силой воздействующему на иные замкнутые, склонные к одиночеству натуры; безлюдные места Дефаго любил с такой беззаветной романтической страстью, что она порой граничила с одержимостью. Жизнь лесной глуши буквально завораживала его, одаривая непревзойденным умением приобщаться к ее тайнам.

К участию в охотничьей экспедиции нового проводника привлек Хэнк. Он хорошо знал Дефаго и мог за него поручиться. Нередко Хэнк по-дружески посмеивался над этим «парнем что надо», а поскольку речь канука, при всей своей очевидной бессмысленности, блистала перлами живописнейшей брани, разговор двух крепких и отважных «лесных жителей» частенько принимал весьма серьезный оборот. Впрочем, из уважения к старому «охотничьему хозяину», которого по обычаю родной страны Хэнк именовал просто «доком», ему удавалось все же несколько придерживать при Кэскарте вольный свой язык, тем более что и «молодой хозяин», Симпсон, был уже «чуть-чуть священником». Поводом к насмешкам над Дефаго служило то, что Хэнк определял как «извержение окаянного и мрачного духа», нет-нет да и проявлявшегося в поведении этого канадского француза; судя по всему, он имел в виду романский характер своего закадычного друга и подверженность Дефаго приступам необъяснимой хандры, когда ничто не могло заставить его вымолвить хоть словечко. Но, правду сказать, Дефаго и в самом деле отличался крайней впечатлительностью и склонностью к меланхолии. Как правило, поводом для приступов молчаливости было сближение с «цивилизацией», даже кратковременное, но всякий раз несколько дней жизни в лесной глуши неизменно вылечивали его.

Итак, в последнюю неделю октября уже упомянутого «года пугливых лосей» четверо охотников, весьма отличающихся друг от друга по духовному складу, разбили главную свою стоянку на дальнем канадском Севере, за Крысиной переправой – в глухой, заброшенной, без-

¹ От фр. *voyageur* – путешественник.

людной стороне. Впрочем, охотников сопровождал еще и индеец по имени Панк, исполнявший обязанности повара; он и в прежние годы участвовал в лесных скитаниях доктора Кэскарта и Хэнка. Панк должен был просто-напросто жить на стоянке, ловить рыбу, жарить мясо добытых животных и при необходимости в считанные минуты готовить кофе. В своей поношенной городской одежде, доставшейся ему от прежних хозяев, он был похож на истинного индейца – если, конечно, забыть о его жестких черных волосах и смуглой коже – не больше, чем, скажем, театральный негр на коренного жителя Африки. При всем том Панк еще не утратил инстинктов своей вымирающей расы – в нем стойко жили склонность к невозмутимому молчанию и всяческого рода суевериям.

В ту ночь охотники, жавшиеся к ярко пылающему костру, были настроены невесело: за всю неделю не обнаружилось никаких признаков лосей. Дефаго, Впрочем, уже спел спутникам одну из своих излюбленных песен, а потом принялся рассказывать какую-то байку, но Хэнк, пребывавший по случаю неудачной охоты в особо дурном расположении духа, постоянно бурчал что-нибудь вроде «от его путаницы, кроме вранья, ничего не остается», и вскоре француз погрузился в мрачное молчание, из которого, казалось, вывести его было уже невозможно. Молчали и доктор Кэскарт с племянником, изнуренные бесплодным рысканьем по лесу. Панк, устроившийся под навесом из нарубленных веток, где позже и заснул, мыл посуду, что-то тихо бормоча про себя.

Никому не хотелось трогаться с места, чтобы оживить медленно гаснущий костер. Высоко в небе, уже по-зимнему холодном, сверкали звезды, ветер был так тих, что вдоль береговой кромки умирившегося озера мало-помалу начала нарастать ледяная бахрома. Со стороны бескрайнего леса подступала настороженная, все обволакивающая тишина.

Внезапно тишину нарушил гнусавый голос Хэнка.

– Что до меня, док, – громко произнес проводник, устремив взгляд на своего патрона, – так я бы утречком перебрался в другие места. Тут мы разве что черта лысого добудем.

– Согласен, – коротко бросил обычно немногословный Кэскарт. – Мысль недурна.

– А вот, ей-богу, хозяин, – уже с уверенностью продолжал Хэнк, – я полагаю, стоит теперь двинуться на запад, к озеру Гарден, скажем, вы да я, для разнообразия! Никто из нас даже носу прежде не совал в те места...

– Идет.

– А ты, Дефаго, возьми маленькую лодку и с мистером Симпсоном – через озеро, до самого залива Пятидесяти Островов, а потом наискосок – вдоль южного берега. Прошлой зимой там этих лосей паслось до дьявола, и гадай не гадай, а чем бес не шутит, может, и нынче, назло нам, они опять туда подались.

Дефаго, не отводя глаз от костра, продолжал молчать. Видимо, он все еще чувствовал себя оскорбленным, переживая, что его так бестактно прервали.

– Нынче никто не ходил тем путем, готов поспорить на доллар! – твердо заключил Хэнк, словно имея какие-то особые основания. Он бросил острый взгляд на своего приятеля. – Взять с собой палатку – ту, что поменьше, – и махнуть туда ночи на две, – добавил он, полагая дело решенным. Да и правду сказать, Хэнк считался общепризнанным распорядителем всех охотничьих затей и теперь в той же мере отвечал за успех предприятия.

Все чувствовали, что Дефаго не испытывает восторга от намеченного плана и его молчание свидетельствует нечто большее, чем простое неодобрение: по смуглому, подвижному лицу француза огненной вспышкой промелькнуло странное выражение – не оставшееся, Впрочем, незамеченным. «Мне показалось, что он словно испугался чего-то», – скажет позже Симпсон своему дяде, с которым они делили одну из палаток. Доктор Кэскарт не спешил с заключением, хотя, конечно, и от его внимания не ускользнула мимолетная перемена в лице проводника, оставившая зарубку в памяти. В душе доктора поселилась неосознанная тревога, хотя в тот момент он еще не мог ощутить ее.

Раньше остальных перемену настроения почувствовал Хэнк, но странное дело: не найдя поддержки со стороны друга, он не взорвался и не обиделся, а, напротив, стал словно подлаживаться к нему.

– Ну ведь нет же какой-то особой причины, чтобы их там не оказалось в этом году, – сказал он примирительно, заметно понизив голос, – оленей, а не того, о чем ты думаешь! В прошлом году, пусть так, были огни, которые отпугивали людей, но нынче, я полагаю... тут просто дело случая, и все!

Он говорил это с явной надеждой, что его поддержат.

Жозеф Дефаго мельком взглянул на Хэнка, но тут же вновь опустил глаза. Из глубины леса вырвался ветер, на миг ярко раздув тлеющие угли. Доктор Кэскарт уловил новую перемену в лице проводника, и она еще больше не понравилась ему. Взгляд Дефаго выдал все. То были глаза человека, испуганного до глубины души. Тревога доктора заметно усилилась, и гораздо больше, чем ему бы хотелось.

– Там могут быть индейцы, которых нам следует бояться? – спросил он с беспечной улыбкой, надеясь несколько разрядить напряжение.

Симпсон, сморенный дремотой и не способный осознать тонкость ситуации, с долгим зевком направился к своей палатке.

– Или в тех местах еще что-нибудь не в порядке? – спустя минуту тихо добавил Кэскарт, когда племянник уже не мог слышать его слов.

Хэнк посмотрел на хозяина, и в его взгляде доктору не удалось уловить обычной прямоты и откровенности.

– Да какое там, – возразил проводник с наигранным добродушием, – просто он все еще дуется на меня из-за небылицы, которую ему не дали досказать! Уж очень он крепко на меня обиделся, вот и вся недолга! Верно же, старина? – И он по-дружески пихнул носком сапога протянутую к костру ногу Дефаго, обутую в мокасин.

Дефаго резко поднял голову, как бы очнувшись от мечтательной задумчивости, не мешавшей ему, однако, внимательно следить за всем, что происходит вокруг.

– Я? Обиделся? Еще чего! – воскликнул он с возмущением. – Ничто в лесу не может обидеть Жозефа Дефаго! – И неожиданно воскресшая в его голосе привычная решительность тона не позволила определить, говорил он правду или только часть ее.

Хэнк взглянул на доктора. Он собирался было что-то сказать, но оборвал себя на полуслове и оглянулся. Шаги за их спиной заставили всех троих пристально взглянуть в темноту. То был старый Панк; пока они беседовали, он неслышно выбрался из-под своего навеса и теперь, прислушиваясь к разговору, стоял у самой черты светового круга, образованного сиянием костра.

– В другой раз, док! – шепнул Кэскарту Хэнк, заговорщически подмигнув одним глазом. – Когда галерка не будет торчать в партере! – И, вскочив на ноги, он похлопал индейца по спине, громко воскликнув: – Ну-ну, подваливай ближе к огню, погрей малость свою грязную красную шкуру.

Подтолкнув Панка к костру, он подкинул в огонь охапку сушняка.

– Ты нынче покормил нас на славу, – добавил он сердечным тоном, словно желая настроить мысли индейца на благодушный лад, – и не будет достоин христианского имени тот, кто заставит старую твою душу зябнуть, пока мы тут блаженствуем возле костра!

Панк приблизился к огню и стал греть ноги, отвечая на эти сладкоречивые излияния не словами, а лишь смутной улыбкой, тем более что едва ли понимал хотя бы половину сказанного. Видя, что продолжение разговора невозможно, доктор Кэскарт последовал примеру племянника и, оставив троих мужчин покуривать возле ярко пылавшего костра, забрался в свою палатку.

Стараясь не разбудить племянника, что в тесноте палатки было сделать нелегко, Кэскарт разделся, а затем исполнил на свежем воздухе то, что Хэнк определил бы фразой «справил старикан малую нужду». Справедливости ради надо заметить, что «старикан» в свои пятьдесят с лишним лет все еще был крепким и пышущим здоровьем мужчиной. Совершая вышеупомянутый процесс, он приметил, что Панк уже снова ушел под навес, а Хэнк и Дефаго оказались в положении молота и наковальни, причем в роли наковальни выступал маленький канадский француз. Издали эта картина напоминала сценку из вестерна: на лицах героев красными и черными бликами играл огонь костра; Дефаго, в широкополой фетровой шляпе с низко опущенными полями и мокасинах, представлялся злодеем из диких прерий; Хэнк, с непокрытой головой, широко улыбающийся и беспечно пожимающий плечами, – честным, обманутым простаком; таинственность картины дополнял старый Панк, как бы намеренно скрывшийся на заднем плане и подслушивающий разговор главных героев мелодрамы. Комизм этой сцены вызвал у доктора улыбку; и в то же время что-то в нем – едва ли он сам понимал, что именно, – болезненно сжалось, словно неуловимое дыхание некой угрозы слегка коснулось его души и снова ушло, прежде чем он успел уловить его. Возможно, ощущение это родилось от испуга, который он уже видел прежде в глазах Дефаго, иначе мимолетный всплеск эмоций вообще мог ускользнуть от его острого, все подмечающего внимания. Дефаго, на его взгляд, вполне мог неожиданно оказаться причиной беспокойства... Кстати, в роли проводника он не казался столь же надежным, как Хэнк. Ждать от него слишком многого не приходилось.

Прежде чем вернуться в тесную палатку, где уже похрапывал Симпсон, доктор еще некоторое время наблюдал за проводниками. Он видел, что Хэнк бранился теперь хоть и отчаянно, но словно бы напоказ – наподобие театрального африканца в каком-нибудь негритянском баре Нью-Йорка, – а на деле то была брань «от любви». Теперь, когда все, кто мог помешать бранившимся друзьям, ушли спать, взаимные проклятия и вызывания к Богу текли неудержимым потоком. Хэнк почти с нежностью похлопывал друга по плечу, и вскоре оба они скрылись в тени, где смутно виднелась их палатка. Минутой позже, последовав их примеру, исчез во мраке и Панк, зарывшийся в свои вонючие одеяла.

Улегся спать и доктор Кэскарт; усталость и сонливость еще некоторое время боролись в его сознании со смутным желанием разобраться наконец в странном происшествии. Что же все это значило? Чего испугался Дефаго, когда речь зашла о заливе Пятидесяти Островов? Почему присутствие Панка помешало Хэнку досказать все до конца?.. Но в объятиях Морфея мысли доктора отказывались повиноваться. Возможно, все разъяснится завтра... Хэнк доскажет то, что хотел досказать, когда они вдвоем пойдут по следу неуловимых лосей...

Глубокое безмолвие опустилось на маленький охотничий лагерь, столь дерзновенно разбитый в самом сердце дикой природы. Черным травянистым лугом поблескивало под звездами широко раскинувшееся озеро. Воздух становился колюче студеным. В ночной лесной глуши таились послания далеких горных вершин, озер, подернутых первым ледком, чувствовались слабые, унылые запахи надвигающейся зимы. Белым людям, с их неразвитым обонянием, не дано уловить дыхание природы; смоляной дух костров заглушает для них тончайшие, почти электрические послы мхов, древесной коры и застывающих вдали болот. Даже Хэнк и Дефаго, постигшие самую душу лесов, быть может, сейчас тщетно раздували бы свои тонкие ноздри.

Но часом позже, когда все уже заснуло мертвым сном, старый Панк выполз из одеял и тенью скользнул к берегу озера – неслышно, как это умеют делать только индейцы. Он высоко поднял голову и огляделся. Кромешная тьма многое скрывала от его глаз, но, подобно животным, он обладал особыми чувствами, и мрак не был властен над ними. Панк долго прислушивался, потом потянул ноздрями воздух. Он стоял безмолвно и недвижно, будто стебель болиголова. Минут через пять он снова вытянул шею и принялся, а затем еще раз. Внешне никак не проявлявшееся нервное напряжение растекалось по всему телу индейца, когда он втягивал в себя обжигающий свежий воздух. Слившись в единое целое с окружавшей его темнотой, как

это удастся лишь дикарям и животным, Панк вернулся к стоянке, по-прежнему скользя неуловимой тенью, и крадучись пробрался к своей постели под навесом.

Не успел он уснуть, как налетел предугаданный им ветер и поднял на поверхности озера, отражающей звезды, легкую рябь. Зародившись в отрогах гор с другой стороны залива Пятидесяти Островов, этот ветер явился как раз оттуда, куда смотрел старый индеец, и едва слышно, с тоскливым шуршаньем в верхушках исполинских деревьев, пронесся над погружившейся в сон охотничьей стоянкой. Лесные безлюдные тропы наполнились странным ароматом – слишком тонким, чтобы его могли уловить даже изощренные чувства индейца, непостижимо волнующим ароматом чего-то неведомого, незнакомого.

И в это мгновение белокожий канадский француз и краснокожий индеец беспокойно завозились во сне. Но ни один из них не проснулся. А незабываемый странный запах унесся прочь, затерявшись в глуши девственного леса.

Еще до восхода солнца охотничий лагерь ожил. Всю ночь падал легкий снежок, холодный воздух щекотал ноздри свежестью. Судя по тому, что до обеих палаток донесся дух жареного бекона и аромат кофе, Панк уже исполнил свои утренние обязанности. Охотники поднялись в превосходном настроении.

– Ветер сменился! – бодро крикнул Хэнк, наблюдавший за тем, как Симпсон и его проводник принялись загружать небольшую лодку. – Теперь он с озера – то, что вам надо, парни! На свежем снегу каждый след как на ладони! Если попадутся лоси, при таком ветре им вас не учуять, разве что самую малость. Ну, мсье Дефаго, удачи тебе! – заключил он, впервые произнеся имя своего друга на истинно французский манер, присовокупив напоследок и французское «bonne chance».

Дефаго, по всей видимости пребывавший в прекрасном расположении духа – от его молчаливости не осталось и следа, – ответил приятелю такими же добрыми напутствиями. К девяти утра охотничья стоянка, оставленная на попечение Панка, опустела; Кэскарт и Хэнк уже ушли далеко на запад, а лодка Дефаго и Симпсона, нагруженная палаткой и двухдневным запасом провизии, превратилась для глаз индейца в черную точку, качающуюся на легкой зыби озера напрямиком на востоке.

Пронзительная свежесть зимнего утра теперь была согрета лучами солнца, воспарившего над лесистыми горными отрогами и обливавшего радостным своим сиянием и озеро, и леса, и горы; сквозь сверкающие водяные брызги, вздымаемые порывами ветра, плавно скользили гагары; бодро выскакивая из воды навстречу солнцу, стряхивали воду с мокрых головок утки-нырки; насколько хватал глаз, вокруг высились необъятные, все подавляющие собой массивы первобытного леса, величественные в своей безмолвии, безлюдье и бесконечности, – то был могучий, не потревоженный ногой человека живой ковер, распростершийся вплоть до уже покрытых льдом берегов Гудзонова залива.

Симпсон, который сидел на носу пляшущего на волнах челнока и изо всех сил работал веслами, не мог не поддаться очарованию девственной красоты природы: зрелище это было для него в новинку. Сердце юноши сладко пьянилось чувством свободы и безмерного величия пространства, легкие жадно вбирали в себя прохладный, бодрящий, благовонный воздух. На корме, беспечно распевая приходящие на ум обрывки родных песен, расположился Дефаго – будто всю свою жизнь он только тем и занимался, что управлял маленьким суденышком из березовой коры, и притом успевал весело отвечать на бесчисленные вопросы Симпсона. У обоих на сердце было отрадно и легко. В подобных обстоятельствах быстро стираются условности, поверхностные различия между людьми, принадлежащими к разным слоям общества, и они становятся просто товарищами, действующими в очевидно общих интересах. Симпсон, работодатель, и Дефаго, наемный работник, в первобытных этих условиях словно поменялись ролями: первый стал «ведомым», второй – «ведущим». Тот, кто обладал сейчас первостепенно важными знаниями, естественным образом принял на себя руководство, а молодой богослов,

не раздумывая, подчинился его опыту. Ему и в голову не пришло возразить, когда с первых же минут Дефаго отбросил ставшее как бы лишним словечко «мистер» и стал запросто говорить своему хозяину: «Послушай, Симпсон» – или «Эй, босс!», и к тому времени, когда они после напряженной – на протяжении двенадцати миль да еще против ветра! – работы веслами добрались до дальнего берега, такие отношения уже вошли в привычку; Симпсон только посмеивался про себя, ему все это нравилось, а вскоре он и вовсе перестал что-либо замечать.

Ведь, собственно говоря, наш «ученый богослов» был еще совсем юношей, пусть и очень способным и с сильным характером, но слишком мало повидавшим свет; впервые оказался он в незнакомой стране, если не считать крошечной Швейцарии, и непомерный размах всего увиденного немало озадачил его. Он понял, что знать о девственных лесах понаслышке – это одно, и совсем другое – увидеть их собственными глазами. А уж если выпадает случай побывать в них и познакомиться с дикой жизнью, то для умного человека это становится настоящим посвящением в нечто необычное, требующим пересмотра былых, прежде неизменных и священных, личностных ценностей.

Впервые Симпсон по-настоящему ощутил своеобразие дикой природы, когда взял в руки новенькое ружье и глянул в небо вдоль двух безупречных блестящих стволов. А три долгих дня, в течение которых охотники всей компанией, переправившись через озеро и реку, добрались до места главной стоянки, усилили это чувство. Теперь ему предстояло сделать новый шаг – выйти за пределы, обозначенные лагерем, и погрузиться в самую глубь необитаемых районов страны, столь же обширных, как вся Европа; и сама суть невероятной этой ситуации одновременно и восторгала, и ужасала юношу в меру отпущенного ему воображения. Ведь они вдвоем с Дефаго вступили теперь в противоборство со множеством могущественных сил, с самим Титаном!

Мрачное величие безлюдных лесов, раскинувшихся на невообразимых просторах, ошеломляло юного богослова, заставляя почувствовать рядом с ними собственную малозначительность. Суровость непроходимой лесной глуши, олицетворявшая безжалостность и беспощадность, становилась все более грозной в безбрежных синих далах, обнимающих горизонт. Симпсон все отчетливее ощущал ее молчаливую угрозу, все острее осознавал полнейшую свою беспомощность перед ней. Один лишь Дефаго – этот слабый символ оставленной позади цивилизации, где всему хозяин человек, – стоял теперь между ним и жестокой, не знающей жалости смертью от истощения и голода.

Симпсон со страхом наблюдал, как Дефаго на берегу озера перевернул лодку вверх дном, заботливо прибрал под нее весла, забросал ветвями, а затем принялся делать топориком метки на стволах канадских елей по обеим сторонам почти неприметной для глаза тропы, сопровождая свои действия небрежно бросаемыми фразами: «Ты вот что, Симпсон... Если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по этим зарубкам... А дальше плыви прямо на запад, к солнцу... Так до лагеря и доберешься, понял?»

Даже эти обыденные, совершенно естественные в подобной ситуации слова, сказанные как бы между прочим, без какой-либо особенной интонации, привели Симпсона к осознанию необычности положения, в котором он оказался впервые, обозначили весь накал чувств, переживаемых юношей, всю его собственную беспомощность как главный стержень происходящего. Только он и Дефаго наедине с бескрайним первобытным миром – и этим сказано все. Второй символ господства человека над природой – примитивная лодочка – остался где-то позади. И единственной нитью, связывающей его сейчас с цивилизацией, были эти едва заметные, наспех сделанные топором желтые метки на древесных стволах.

Разделив поклажу между собой, охотники взяли ружья – каждый свое – и по неприметной тропе двинулись вперед через скалы, упавшие деревья и полузамерзшие болота, обходя по берегам бесчисленные мелкие озерца, красиво обрамленные лесом и пеленой тумана; к пяти вечера они вышли на опушку леса: впереди расстилалась широкая водная гладь, за которой

далеким пунктиром обозначились одетые ельником острова всех мыслимых и немыслимых очертаний и размеров.

– Залив Пятидесяти Островов! – устало объявил Дефаго. – И солнце, похоже, скоро опустит в него свою лысую башку! – добавил он с неосознанной поэтичностью, и тут же, не теряя времени на пустые разговоры, они принялись готовить место для ночлега.

В считанные минуты, повинаясь рукам, не привыкшим делать ни единого лишнего движения, на полянке выросла туго натянутая уютная палатка с постелями из ветвей пихты; и вот уже запылал яркий, но почти не дающий дыма костер, на котором можно было приготовить ужин. Молодой шотландец принялся чистить рыбу, пойманную на блесну прямо с лодки, а Дефаго заявил, что «покамест» пройдет по лесу, посмотрит, нет ли поблизости лосиных следов.

– Вдруг да и наткнусь на дерево, о которое лоси терли свои рога, – сказал он, живо поднявшись на ноги, – не исключено, что они кормились где-нибудь поблизости листом клена.

Небольшая его фигура словно тень растаяла в сумраке, и Симпсон с чувством, близким к восхищению, заметил, сколь легко лес вобрал ее в себя. Едва успев сделать несколько шагов, проводник полностью скрылся из виду, хотя вокруг почти не было подлеска и деревья стояли привольно, не тесня друг друга; в прогалинах росли серебристые березы и клены, выделяясь стройностью на фоне могучих разлапистых канадских пихт и сосен. Если бы не эти громадины и не серые гранитные валуны, тут и там выступавшие из земли округлыми спинами, ближний участок леса вполне мог бы сойти за уголок какого-нибудь парка в любезном сердце Симпсона отечестве. Временами казалось даже, что здесь видна рука человека. Однако чуть правее началось огромное – на многие мили – пространство выгоревшего леса, и сразу же проявлялась его истинная дикая природа; то была *brule*, как именуется здесь лесная гарь; по всей видимости, прошлогодний пожар бушевал в этих местах в течение нескольких недель, и почерневшие стволы, лишенные ветвей, торчали теперь повсюду жалко и безобразно, подобно воткнутому в землю гигантским обгорелым спичкам, невыразимо жуткие и одинокие. Вокруг них все еще слабо вился запах древесного угля и намокшего под дождем пепла.

Быстро густели сумерки, поляны темнели, и только потрескивание костра да слабый плеск волн, доносившийся со стороны скалистого побережья, нарушали девственную тишину. С заходом солнца ветер утих, и во всем этом безмерном древесном мире не колыхалась ни одна веточка. Казалось, в любой момент можно было ожидать, что среди деревьев проявятся могучие и ужасные фигуры лесных богов, коим и надлежит поклоняться в этой тишине и пустынности. Впереди, в широком проеме между колоннами огромных, с прямыми стволами деревьев, раскинулся залив Пятидесяти Островов, образующий гигантский, в добрых пятнадцать миль, полумесяц, а еще дальше, милях в пяти от стоянки, слабо проглядывал противоположный его берег.

Кристально чистое, розовато-шафрановое небо, какого никогда в жизни не видел Симпсон, тихо лило на волны залива бледные струящиеся лучи, и острова – их тут было, конечно, не пять десятков, а добрая сотня – плыли по воде подобно сказочным ладьям какого-нибудь заколдованного флота. Окаймленные соснами, верхушки которых ласково и нежно касались неба, волшебные островки, по мере угасания солнца, возносились все выше и, казалось, вот-вот снимутся с якоря и покинут воды родного пустынного залива, отдавшись на волю небесных путей. И полоски цветных облаков, подобные гордо развевающимся выпелам, словно бы сигналили об их отплытии к звездам...

Красота зрелища странно возбуждала Симпсона. Он коптил рыбу над пламенем и время от времени, обжигая пальцы, наслаждался ее нежной мякотью, а попутно следил за ужином на сковороде и поддерживал огонь в костре. В то же время ему не давала покоя затаившаяся в глубине сознания мысль о безразличии этой дикой природы к человеческой жизни, о безжалостном духе всеобщей потерянности и оставленности, вовсе не принимающем во внимание человека. Теперь, когда рядом не было даже Дефаго, это чувство бесконечного одиночества

подступило к самому сердцу, и юноша в отчаянии стал оглядываться по сторонам, пока наконец не услышал шаги возвращающегося проводника.

Конечно, Симпсон обрадовался, увидев Дефаго, но вместе с тем испытал и запоздалый испуг: «Что бы я делал – что бы я смог сделать, если бы вдруг что-нибудь случилось с проводником и он не вернулся бы назад?..»

Заслуженный ужин вытеснил эти мысли, охотники с наслаждением поедали рыбу в невероятных количествах и запивали ее чаем без молока – столь крепким, что он мог бы свалить с ног человека, не покрывшего перед тем верных тридцать миль практически без еды. А когда с ужином было покончено, они закурили и принялись, весело смеясь, потягиваясь и потирая усталые конечности, рассказывать друг другу всякие истории и обсуждать планы на следующий день.

Дефаго находился в прекрасном расположении духа, хотя и был разочарован, что не удалось обнаружить даже следа лосей. Далеко отойти от стоянки он не мог – уже темнело. К тому же совсем рядом раскинулась *brule*, а это портило все дело – одежда и руки пропахли гарью. Симпсон, исподволь наблюдая за проводником, с возобновившейся остротой прочувствовал, что в этой дикой лесной глуши их всего двое.

– Ну что, Дефаго, – вымолвил он наконец, – не находишь ли ты этот лес слишком бескрайним, чтобы чувствовать себя в нем как дома, так сказать, вполне уютно, а?

Он хотел всего лишь выразить минутное настроение и едва ли был готов к той серьезности, даже торжественности, с которой воспринял его слова проводник.

– Ты, Симпсон, угодил в самую точку, – согласился Дефаго, остановив на лице собеседника пронизывающий взгляд своих карих глаз, – в том-то, босс, и состоит истинная правда. Лесу этому нет конца. Нет конца вообще, понимаешь? – И, словно бы разговаривая сам с собой, добавил вполголоса: – Многие сталкиваются с этим, и тогда им сразу крышка!

Чрезмерная серьезность проводника пришлось не по вкусу Симпсону: в сложившейся ситуации она пугающе перехлестывала через край, и в пору было теперь пожалеть, что он вообще так некстати затронул эту тему. Юноша вдруг вспомнил, как однажды дядя рассказывал ему, что некоторых людей поражает странная болезнь, своего рода лихорадка дикой глуши – зачарованность необитаемыми, пустынными просторами так глубоко воздействует на них, что они, наполовину замороженные, наполовину потерявшие рассудок, неотвратимо идут к собственной гибели. И в глубине души Симпсон уже почти догадывался, что и компаньон его в какой-то степени имеет касательство к этому опасному типу людей. Он поспешил перевести разговор на другую тему, напомнил о Хэнке, о докторе, о том, что волей-неволей между двумя группами теперь ведется соревнование – кто раньше увидит лосей.

– Если они направились напрямиком на запад, – беспечно отозвался Дефаго, – нас разделяет теперь добрых шестьдесят миль, а где-то посерединке сидит старый Панк, набивая брюхо рыбой и кофе, того и гляди лопнет.

Живо представив себе эту картину, оба расхохотались. Но мимолетное упоминание о расстоянии в шестьдесят миль снова заставило Симпсона остро осознать безмерный размах этих безлюдных мест, куда они прибыли ради охоты: шесть десятков миль равноценны здесь одному шагу, но даже и две-три сотни миль почти ничего здесь не значат. Все настойчивее в памяти его всплывали грустные истории о заблудившихся охотниках. Мысль о муках и таинственном исчезновении бесприютно странствующих людей, замороженных красотой величественных лесов, пронзила душу юноши слишком сильно, чтобы доставить хоть сколько-нибудь приятное ощущение. Быть может, подобные чувства владеют сейчас и проводником, столь настойчиво навевающим на него это холодящее душу настроение?

– Спой мне, Дефаго, что-нибудь, – попросил он тихо. – Какую-нибудь из старых коммивояжерских песен, что ты напевал в тот вечер.

Он протянул проводнику кисет с табаком, а потом набил и собственную трубку; не заставляя себя долго просить, канадец устремил через притихшее озеро заунывный, меланхоличный напев, наподобие тех, какими канадские лесорубы и охотники-трапперы скрашивают нелегкий свой труд и житье-бытье, – призывный, романтический, напоминающий о былых временах американских первопроходцев, когда частенько случались ожесточенные стычки и милая старая родина казалась куда более далекой, чем ныне. Голос у Дефаго был несильный, но приятный, звуки песни легко плыли над водой, но лес за спиной охотников, казалось, намеренно поглощал их без остатка, не позволяя прорваться ни единому отклику, заглушая всякое эхо.

Когда Дефаго добрался до середины третьего куплета, Симпсон ощутил нечто необычное – и его мысли сразу улетели куда-то далеко-далеко. В голосе певца что-то странным образом переменялось. Прежде чем юноша успел понять, что случилось, его уже охватило беспокойство; он быстро взглянул на Дефаго: тот, все еще продолжая петь, буквально пожирал глазами ближайшие кусты, будто заметил в них что-то невидимое для Симпсона. Голос его стал слабеть, снизился до шепота и вовсе иссяк. В тот же момент, словно учуявший добычу охотничий пес, Дефаго вскочил на ноги и выпрямился, жадно втягивая ноздрями воздух – короткими, резкими вдохами, быстро поворачиваясь из стороны в сторону, и наконец сделал «стойку» в направлении озера, к востоку. Это было странное, подозрительное и одновременно крайне впечатляющее действо. Симпсон наблюдал за происходящим с трепетом в сердце.

– Боже мой! Как ты меня напугал, приятель! – воскликнул он наконец, тоже вскочив на ноги и уставившись через плечо проводника в густой мрак. – Что там? Что тебя встревожило?

Но Симпсон уже и сам понял, сколь нелепы его вопросы, – любой на его месте, имея глаза, мог увидеть смертельную бледность на лице канадца. Ее не могли скрыть ни многолетний загар, ни пляшущие отсветы костра.

Тут уже и богослова пробрала дрожь, отзывавшаяся противной слабостью в коленях.

– Ну так что же случилось? – не унимался он. – Ты учуял лосей? Что там – что-то подозрительное... недоброе? – Симпсон невольно понизил голос.

Лес окружал их плотной стеной, ближние стволы деревьев в бликах от костра отсвечивали бронзой, но дальше царила сплошная чернота и, как бы мог выразиться студент-богослов, безмолвие смерти. Прямо за его спиной легкий порыв ветра поднял вверх одинокий древесный листок, словно бы оглядел его в воздухе со всех сторон и снова мягко опустил на землю, не потревожив ковер из листьев.

Казалось, целый миллион причин сошелся воедино, чтобы произвести этот слабый эффект, единственно видимый для постороннего взгляда. Вокруг стужалось иное бытие, на секунду выдавшее себя ничтожным трепетом и тут же отступившее назад.

Дефаго резко повернулся к юноше; лилово-синий оттенок на его лице уже сменился землисто-серым.

– Разве я сказал, будто что-то услышал или почуял? – произнес он медленно и подчеркнуто выразительно, со смутным протестом в странно изменившемся голосе. – Я просто огляделся, и не более того... Вечно ты спешишь с расспросами, отсюда и твои постоянные промахи... – Сделав над собой видимое усилие, он уже более естественным, обычным тоном спросил: – Спички при тебе, босс Симпсон? – И принялся раскуривать трубку, наполовину набитую еще до того, как он начал петь.

Ни один из них не произнес более ни слова; они вновь присели у костра. Дефаго расположился теперь лицом против ветра. Даже явный новичок в лесу смог бы заметить это. Было очевидно, что он хотел слышать и улавливать все, что исходило со стороны озера, – каждый звук, каждый запах. Сев спиной к лесу, он словно бы давал понять, что удивительно изощренным его нервам ничего странного и неожиданного оттуда не угрожает.

– Что-то мне расхотелось петь, – объяснил он, не дожидаясь вопроса. – Эта песня всегда тревожит меня, навевая воспоминания, не нужно было и начинать ее. Она – понимаешь, босс? – заставляет меня воображать всякие штуки...

Дефаго явно все еще пытался преодолеть некое глубоко затронувшее его чувство. Ему хотелось в чем-то оправдаться перед собеседником. Но в прозвучавшем объяснении заключалась лишь часть правды, и он отчетливо видел, что Симпсон угадывает это. Как оправдать смертельную бледность, отпечатавшуюся на его лице, когда он встал в боевую стойку, тревожно принохиваясь?! Ничто – ни спокойное подбрасывание дров в огонь, ни неторопливая беседа на обычные темы – уже не могло вернуть их лесную стоянку к прежнему состоянию. Тень ужаса перед чем-то неведомым, на мгновение накрывшая лицо и определившая все движения проводника, пусть и не до конца угаданная, смутная, но оттого еще более убедительная, помимо воли Симпсона упала и на него. Очевидные усилия Дефаго сгладить впечатление от произошедшего только усугубляли ситуацию. К беспокойству молодого шотландца добавилась теперь еще и трудность – нет, даже не трудность, а невозможность! – задать проводнику хоть какой-то вопрос о вещах, в которых он ощущал свое полное невежество: об индейцах, диких животных, о лесных пожарах и многом другом... Воображение юноши лихорадочно работало, но тщетно...

* * *

Как бы то ни было, время делает свое дело, и пока они, греясь у костра, курили трубки и перекидывались малозначащими фразами, мрачная тень, неожиданно нависшая над их мирным лагерем, постепенно рассеялась. Возможно, сыграли свою роль утешительные речи Дефаго или даже просто возвращение проводника к его прежнему спокойному и уравновешенному состоянию; возможно, самому Симпсону стало казаться, что он все преувеличил и вывел за рамки правдоподобия; а может, вновь вступила в действие врачующая сила всемогущего воздуха этой дикой лесной глуши. Так или иначе, но обстоятельство, сковавшее мгновенным ужасом обоих спутников, по всей видимости, улетучилось с той же таинственностью, с какой и возникло, и ничего более не произошло, что могло бы вновь пробудить этот ужас. Симпсон начал думать, что просто поддался безрассудному чувству страха, подобно неразумному дитяти. Частично он объяснил это подсознательным возбуждением, порожденным в крови всем пережитым в первые дни пребывания в этой дикой, потрясающей своей грандиозностью глухой стороне; частично – очарованием безлюдия и безмолвия великих просторов; а может, в чем-то сказалось и переутомление. Конечно, труднее всего было объяснить внезапную бледность проводника... Но, в конце концов, это могла быть просто игра бликов от пылающего костра – не в меру разыгравшееся воображение способно и не на такое... Немного поразмыслив, Симпсон извлек всю возможную пользу из прирожденной своей способности во всем сомневаться – ведь недаром же он был шотландцем.

Когда душа расстаётся с каким-либо необычным чувством, ум тут же находит добрый десяток способов подыскать этому чувству самое простое, пусть и поверхностное объяснение... Симпсон вновь закурил трубку, мысленно посмеиваясь над собой. По крайней мере, когда он вернется домой, в родную Шотландию, будет повод рассказать у камина забавную историю. Он не понимал еще, что этот смех лишь подтверждает по-прежнему таящийся в глубине его души ужас, что именно такими уловками всякий сильно встревоженный чем-то человек пытается убедить себя, будто на самом-то деле все обстоит вовсе не так, как кажется...

Дефаго, однако, чутко уловил тихий смешок Симпсона и недоуменно уставился на компаньона. Они стояли теперь друг против друга, затаптывая ногами – перед тем, как отправиться на ночлег, – последние тлеющие угли угасшего костра. Десять вечера – для охотников слишком поздний час, чтобы продолжать бодрствовать.

– С чего это тебя разбирает? – спросил Дефаго вроде бы обычным своим тоном, но в то же время очень серьезно.

– Да так, я подумал... вспомнил наши маленькие, будто игрушечные леса, – с запинкой отвечал Симпсон, которого вопрос проводника застал врасплох и вынудил вновь испытать чувство ужаса, глубоко угнездившееся в душе, – и сравнил их с... со всем этим... – Он обвел рукой окружающие их непроходимые чащи.

Последовала пауза.

– И все равно на твоём месте я не стал бы сейчас смеяться, – вновь заговорил Дефаго, вглядываясь через плечо Симпсона куда-то в темноту. – Здесь есть места, куда не ступала еще нога человека, и никто не знает, что в них творится, кто живет.

– Кто-то очень большой, превосходящий все обычное?

В словах проводника скрывался намек на нечто невообразимо огромное и страшное.

Дефаго кивнул. Лицо его было хмурым. От Симпсона не укрылось, что в душе его спутника нет покоя. Юноша понимал, что в самых глубинах этого необъятного края могли оставаться никем еще не изведанные, никем не потревоженные места. И мысль об этом была не из самых приятных. Преодолев свою растерянность, он нарочито веселым тоном намекнул, что пора бы уже и поспать. Но проводник все медлил, находя себе занятия, в которых вовсе не было надобности, – возился с угасшим костром, перекладывал с места на место камни вокруг кострища. По всей видимости, ему хотелось что-то сказать, но он никак не мог найти подходящих слов.

– Слышь-ка, Симпсон, – решился он вдруг, когда в воздух взлетел последний сноп угасающих искр. – Ты, часом, ничего... ничего не учуял? Ничего такого особенного, я хотел сказать?

Симпсон понимал, что за обычным этим вопросом крылась какая-то напряженная работа мозга. По спине его пробежали мурашки.

– Нет, ничего, – твердо ответил он и снова принялся с тихим шорохом затаптывать рассыпавшиеся по земле угольки, пугаясь самого этого шуршащего звука. – Разве что очень уж от лесного пожарища несет гарью.

– И что – за весь вечер ты ничего другого не почуял? – настаивал проводник, не сводя с него блестящих во мраке глаз. – Совсем ничего? Ничего особенного, отличного от прежних запахов?

– Да нет, дружище, совсем, совсем ничего! – уже почти сердито ответил Симпсон.

Лицо Дефаго прояснилось.

– Ну вот и слава богу! – воскликнул он с видимым облегчением. – Так приятно это слышать!

– А ты-то сам? – резко спросил Симпсон и тут же пожалел о своем вопросе.

Канадец, выступив из темноты, подошел поближе. Тряхнул головой.

– Нет, вроде бы нет... – сказал он, но в голосе его уже не было прежней твердости. – Как-то, пожалуй, не к месту пришлась последняя моя песня. Ее поют лесорубы на своих стоянках да еще вот в таких богом забытых местах, вроде этого, когда люди боятся, что где-то рядом носится быстрее ветра Вендиго...

– Но, ради бога, объясни, что такое это Вендиго? – поспешно, с раздражением спросил Симпсон. Он почувствовал вдруг, как снова напряглись его потрясенные нервы, ощутил тесное соприкосновение с охваченной ужасом душой проводника, с глубинной причиной всего происходящего. И в то же время страстное желание познать все до конца пересилило запреты рассудка и предостережения страха.

Дефаго быстро обернулся и глянул на него с ужасом, словно бы с трудом удерживаясь от крика. Глаза его сверкали, рот был широко раскрыт. Но единственное, что он сумел выдать, понизив голос до глухого шепота, было:

– Да нет, ничего особенного... Это всякие бездельники, как выпьют лишнего, начинают голову всем морочить – дескать, там, – он мотнул головой в сторону севера, – живет какой-то огромный зверь, больше любого из обитающих в лесу... Судя по следам, быстрый как молния... Считается, что не больно-то хорошо человеку встретиться с ним, – вот и все!

– Мало ли о чем болтают в лесу... – поспешно отмахнулся Симпсон, нарочито быстро сделав шаг в направлении палатки, чтобы стряхнуть с запястья крепкую ладонь проводника. – Идем, идем скорее, и, ради бога, захвати с собой фонарь. Если уж решили подняться завтра с восходом, так давно спать пора...

Проводник следовал за ним по пятам.

– Иду, иду, – твердил он в темноте. – Иду.

Через некоторое время он вновь появился, уже с фонарем в руке, и повесил его на гвоздь, вбитый в переднюю стойку палатки. В свете фонаря тени сотен деревьев резко зашевелились; ныряя внутрь, Дефаго споткнулся о шнур, и верх палатки содрогнулся, будто от сильного порыва ветра.

Охотники, не раздеваясь, улеглись на мягких постелях из пихтового лапника. В палатке было тепло и уютно, но сразу возникло ощущение, что вся громада столпившихся вокруг деревьев, играя тысячами черных теней, тесно надвинулась на маленькое убежище людей – крошечную белую ракушку на берегу бесконечного лесного океана.

И тотчас же между двумя одинокими фигурками втиснулась непрошеной гостьей черная тень. Не тень, порожденная ночью, но Тень того странного Ужаса, что охватил Дефаго, когда он приблизился к середине своей песни, и избавиться от нее теперь было невозможно. Симпсон лежал молча, напряженно вглядываясь во тьму, царившую за откинутым пологом палатки, готовый погрузиться в сладостную бездну сна, впервые в жизни познавший до самой ее глубины неповторимую тишину первобытного леса, не нарушаемую ни единым шелестом ветерка, глухое безмолвие девственной глуши, где сама ночь словно обретает собственный вес, обволакивая душу незримым, но плотным покровом... Однако сон уже окончательно одолел Симпсона...

Показалось ли ему? Но он и в самом деле услышал настоящий, реальный, мерный плеск воды у самого входа в палатку: звук еще бился в унисон с ударами его замедленного пульса, когда он осознал наконец, что лежит с открытыми глазами, а в плеск и шуршанье мелких прибрежных волн мягко вплетается какое-то новое созвучье...

Даже не обозначив еще своей истинной природы, этот новый звук возбудил в мозгу Симпсона участки, ведающие чувствами жалости и тревоги. С минуту юноша вслушивался – внимательно, но тщетно, ибо прихлынувшая к вискам кровь шумно била во все свои барабаны. Откуда исходил таинственный звук – со стороны озера или из глубины леса?..

И вдруг что-то пронзило трепещущее сердце Симпсона: источник странного звука находится в самой палатке, совсем рядом с ним; он повернул голову, чтобы лучше слышать, и убедился окончательно, что все это происходит не далее как в двух футах от него. Юноша явственно различил человеческий плач. Лежа на своей постели из лапника, зарываясь лицом в сбитое комком одеяло, чтобы заглушить рыдания, горько и безутешно всхлипывал в темноте проводник Дефаго.

Еще не успев осознать происходящее, Симпсон почувствовал прилив мучительной, понижающей сердце нежности. Этот столь человеческий, глубоко интимный звук, особенно непривычный среди безбрежной девственной глуши, пробудил в нем острую жалость. Плач казался здесь таким неуместным, таким болезненно тягостным и таким безутешным! Слезы – чем помогут они в этих беспредельных и жестоких к человеку лесных дебрях? В сознании Симпсона возник образ плачущего, затерявшегося в просторах Атлантики ребенка... А в следующее мгновение во всей своей убедительности к нему вернулось воспоминание о вчераш-

нем вечере, которое с таким трудом удалось изгнать из памяти, – и он почувствовал, как у него холодеет кровь. Ужас вернулся.

– Дефаго! В чем дело, Дефаго? – быстро и страстно зашептал Симпсон, стараясь придать своему голосу наивозможнейшую мягкость. – Что мучает тебя?.. О чем ты тоскуешь?

Ответа не последовало, но всхлипывания прекратились. Симпсон протянул руку и коснулся тела проводника. Тот даже не шевельнулся.

– Ну что, ты проснулся? – снова спросил Симпсон, подумав, что Дефаго плакал, наверное, во сне. – Ты не замерз?

Он заметил, что ничем не прикрытые ноги проводника высывались за пределы палатки. Приподнявшись с постели, юноша натянул на них свободный конец своего одеяла. Тело Дефаго вместе с постелью из веток оказалось почему-то сильно сдвинутым к выходу из палатки. Опасаясь разбудить компаньона, Симпсон не решился переместить его на прежнее место.

Он попробовал задать еще два или три вопроса, но достаточно долгое ожидание оказалось бесплодным – не последовало ни ответа, ни хотя бы слабого движения. Теперь Симпсон слышал лишь равномерное, спокойное дыхание проводника; осторожно положив руку ему на грудь, он ощутил, как мерно вздымается и опускается его тело.

– Если что будет не так, сейчас же дай мне знать, – на всякий случай сказал он шепотом, – или если понадобится помощь. Сразу же буди меня...

Едва ли он отдавал себе отчет в происходящем. Судя по всему, Дефаго расплакался во сне. Его могло потревожить недоброе сновидение или еще что-то в том же роде. Но уже никогда в жизни Симпсону не забыть этого жалобного, беспомощного всхлипывания и ужасного ощущения, будто к горестному плачу Дефаго чутко прислушивается огромным ухом дикая лесная глушь...

Он снова надолго погрузился в размышления о странном происшествии минувшего вечера, отвоевавшем в его сознании свое таинственное место; стремясь отогнать ужасные предположения, он пока находил всему доступное разуму объяснение, но подспудное чувство тревоги, сопротивляясь любым доводам рассудка, уже глубоко укоренилось в душе – будто случилось нечто особенное, находящееся за гранью обычного.

Между тем здоровый сон уже завладел юношей, пересилив все эмоции. Тревожные мысли постепенно рассеялись; сморенный сном, угревшись в одеялах, Симпсон лежал в глубоком забытии; ночь утешила и умиротворила его, притушив острые края памяти и беспокойства. Не прошло и получаса, как он снова утратил всякие связи с окружающим внешним миром.

Но дарующий покой и отраду сон таил в себе и великую угрозу, ослабляя чуткое, предупреждающее опасность напряжение нервов и облегчая доступ всему недоброму.

Как это бывает в мучительном кошмаре, когда ужасные видения роятся в мозгу, тесня друг друга, и живостью своей убеждают погруженного в сон человека в реальности происходящего, всегда находится какая-то одна неуместная, всему противоречащая подробность, которая раскрывает, радуя сонную душу, фальшь общей картины; вот так и зловещие события этой ночи, пусть и реально произошедшие, пытались найти оправдание в том, что, возможно, в хаотичной путанице впечатлений просто ускользнула от внимания одна, но при этом самая важная деталь и что, быть может, именно она смогла бы убедить потрясенный разум в нереальности событий, из которых лишь малая часть достойна доверия. В глубине сознания спящего всегда сохраняется частичка яви, готовая в любую минуту подсказать здравое суждение: «То, что сейчас происходит в твоих видениях, не во всем реально; проснувшись, ты ясно осознаешь это».

Что-то в подобном роде происходило и с Симпсоном. События, не находящие себе полного объяснения или попросту невероятные, все же остаются для человека, который был их свидетелем, только цепью разрозненных, не столь уж существенных фактов, хотя и способных вызывать ужас, ибо всегда теплится слабая надежда на то, что какая-то незначительная, но

служащая ключом для счастливой разгадки целого подробность сокрыта от взволнованного, рассеянного внимания или просто ускользнула от него.

Впоследствии, описывая произошедшее, Симпсон сказал, что почувствовал какое-то грубое, насильственное действие, совершенное кем-то посторонним; оно заставило его проснуться и осознать, что Дефаго сидит рядом, выпрямившись в постели, весь пронизываемый дрожью. Должно быть, с момента первого пробуждения протекли часы, потому что уже обозначился слабый отсвет утренней зари, четко выделивший силуэт проводника на светлом полотнище палатки. Теперь Дефаго не плакал, но весь трепетал, как лист на ветру, и эта дрожь передавалась Симпсону через одеяло, покрывавшее их обоих во всю длину тел. Казалось, Дефаго инстинктивно жался к товарищу, в ужасе отшатываясь от чего-то неведомого – того, что, по всей видимости, таилось у самого выхода, вблизи полога палатки.

Симпсон громко закричал: то были отчаянные, проникнутые недоумением вопли еще не очнувшегося от сна человека – и впоследствии он не мог припомнить их, – но проводник безмолвствовал. Юному богослову казалось, что он все еще не очнулся от какого-то страшного сна, что он скован им, будучи не в силах ни двигаться, ни говорить. Он даже не мог до конца осознать, где находится – в главном лагере за озером или дома, в родном Абердине, в собственной постели... В душе его царило ощущение неимоверной путаницы и тревоги.

И почти тотчас же – едва ли не в самую минуту пробуждения – глубокое безмолвие раннего рассвета было нарушено каким-то необычным звуком. Он возник неожиданно, без той тонкой вибрации воздуха, что, как правило, предупреждает слух о приближении звука, и был невыразимо ужасен. Впоследствии Симпсон определил этот звук как голос – возможно, человеческий, хриплый и в то же время жалобный, мягко рокочущий где-то совсем близко, у самого входа в палатку, и, казалось, не у земли, а высоко над головой; он заключал в себе потрясающую мощь и в то же время странную пронзительность и чарующую сладость. Он состоял из трех отдельных, отстоящих друг от друга во времени нот или выкриков, удивительным образом рождающих противоестественное, но вполне узнаваемое сходство с именем проводника: «Де-фа-го!»

Юный богослов допускал, что не в состоянии описать этот звук достаточно внятно, ибо ничто другое, когда-либо в жизни слышанное им, не соединяло в себе столь противоречивых свойств. «В этом неистовом, страстном, рыдающем зове было что-то от одинокой, но и неукротенной, простодушной, бесхитростной и в то же время вызывающей гадливое чувство силы...»

Еще прежде, чем этот голос умолк, вновь канув в великую бездну безмолвия, Дефаго, сидевший бок о бок с Симпсоном, затрепетал всем телом и с каким-то жалобным, невнятным криком вскочил на ноги. В неистовом порыве он, словно сослепу, налетел на шест, поддерживающий верх палатки, сотряся ее сверху донизу, и широко, будто желая объять как можно больше пространства, расставил руки, одновременно нетерпеливо выпутываясь из одеяла, которым были прикрыты его ноги. На какое-то мгновение он остановился перед выходом из палатки – темный силуэт на бледном зареве рассвета, – а затем с бешеной, немыслимой скоростью, прежде чем Симпсон успел протянуть руку, чтобы остановить его, пролетел стрелой наружу – и бесследно исчез. В тот же миг – столь ошеломляюще быстро, что даже первые звуки его голоса показались замирающими где-то в неимоверной дали, – он издал громкий, мучительный, полный ужаса вопль, одновременно исполненный безумного ликования и восторга:

– О! О! Мои ноги... Они горят, они в огне! О! О! Какая страшная вьсь! Какая дикая скорость!..

Еще одно мгновение – и голос Дефаго затих где-то вдали, а лес погрузился в прежнее мертвое безмолвие раннего рассвета.

Все произошло так внезапно и быстро, что, если бы не опустевшая вдруг постель проводника, Симпсон мог бы отнести случившееся к кошмарному видению ночи, продолжавшему

бередить его память. Он еще чувствовал тепло мгновение назад находившегося рядом, но стремительно исчезнувшего тела; еще лежало на земле свившееся клубком одеяло, и палатка трепетала от неистовства стремительного бегства. В ушах продолжали звучать непостижимые, странные крики, словно бы исторгнутые устами внезапно сошедшего с ума человека. Это чрезвычайное, дикое происшествие запечатлелось в мозгу Симпсона не только благодаря зрению и слуху: когда Дефаго с воплем взлетал в неведомую высь, юноша уловил очень странный – слабый, но острый и едкий – запах, распространившийся по всей палатке. Кажется, именно в ту минуту, когда въедливая вонь дошла через ноздри до самого горла, он окончательно пришел в себя, вскочил на ноги и, собрав все свое мужество, выбрался из палатки на воздух.

Неверный холодный свет серого раннего утра, пробивавшийся сквозь кроны деревьев, обрисовывал окрестности достаточно отчетливо. За спиной, мокрая от росы, белела палатка; невдалеке темнел еще не остывший пепел кострища; за пеленой белесого тумана угадывалось озеро и смутно выступающая из него, словно окутанная ватой, вереница островов; на лесных прогалинах светлыми пятнами выделялись заплатки снега; все вокруг как бы замерло в ожидании первых лучей солнца – холодного и недвижимого. Но нигде не было видно ни единой приметы внезапно пропавшего проводника, мчащегося с безумной скоростью над стонущими лесами. Ни отзвука удаляющихся шагов, ни эха замирающего в небе голоса. Он исчез – исчез без следа.

Не осталось ничего, лишь ощущение его недавнего присутствия, которое запечатлелось на всем, что составляло временное их место обитания; и еще – этот пронзительный, всепроникающий запах.

Но и запах быстро улетучивался. Потрясенный до глубины души, Симпсон тем не менее изо всех сил старался определить его природу, однако тонкая эта операция, не всегда посильная даже для подсознания, оказалась и вовсе невыполнимой для проснувшегося разума, потерпевшего полнейшую неудачу. Странный запах исчез, прежде чем разум успел постигнуть его и найти ему определение... Затруднительным оказалось даже грубое его обозначение, ибо достаточно тонкое обоняние Симпсона никогда не воспринимало ничего подобного. Остротой и едкостью этот запах напоминал дух льва, но был мягче и приятнее, в нем соединялись ароматы гниющих листьев, сырой земли и еще тысячи других, составляющих в совокупности своей пряное благоухание лесной чащи. И все же впоследствии, когда требовалось дать самое общее определение, Симпсон возвращался к «запаху льва».

Наконец Симпсону удалось стряхнуть с себя оцепенение, и, словно очнувшись от забытья, он обнаружил, что стоит рядом с грудой остывшей золы кострища в состоянии крайнего изумления, растерянности и ужаса: перед всем тем, что, помимо его воли, могло еще случиться, он чувствовал себя беспомощной жертвой. Высунь сейчас ондатра из-за камня свою острую мордочку, промчись стремглав белка по стволу дерева – и он мог бы тут же рухнуть на землю в полном изнеможении. Ибо за всем, что творилось вокруг, сквозило присутствие Великого Космического Ужаса, а потрясенные душевные силы Симпсона еще не обрели способности вновь воссоединиться, чтобы помочь ему занять решительную позицию самоконтроля и самозащиты.

Однако больше ничего ужасного не произошло. По пробуждающемуся лесу пробежало долгое, ласковое, как поцелуй, дуновение ветра, и к коврику из листьев, покрывавшему землю, с трепетным шуршанием, крутясь в воздухе, присоединились несколько кленовых листочков. Симпсону показалось даже, что небо вдруг посветлело. Щек и обнаженных рук коснулся морозный воздух; юноша почувствовал, что дрожит от холода; с огромным усилием он вернул себе самообладание и определил главное в своем положении: во-первых, отныне он во всей этой глуши совсем один, и, во-вторых, он обязан что-то предпринять, чтобы найти своего пропавшего компаньона и помочь ему.

Приняв решение, Симпсон незамедлительно начал действовать, хотя поначалу его усилия оказались нерасчетливыми и тщетными. В этой дикой лесной глуши, отрезанный широким водным потоком от всякой надежды на помощь, терзаемый ужасом при каждом воспоминании о странных душераздирающих криках, он сделал то, что на его месте сделал бы любой малоопытный человек: принялся, как ребенок, метаться в разные стороны, сам не зная куда, громко выкликая имя проводника.

– Дефа-а-го! Дефа-а-го! Дефа-а-го! – вопил он, и лес отвечал ему глухим многократным эхом, с той же частотой повторяя: «Дефа-а-го! Дефа-а-го! Дефа-а-го!»

Потом он напал на след, кое-где отпечатавшийся на заснеженных участках леса, но вскоре вновь потерял его в чащобе, где снег не нашел себе места. Он кричал и звал до хрипоты, пока собственный голос в этом ко всему прислушивающемся, но безответном мире не начал пугать его самого. Чем больше усилий он прилагал, тем сильнее становилась его растерянность. Нестерпимо острые душевные муки не оставляли его, и в конце концов нервное напряжение так возросло, что рядом с ним поблекла даже вызвавшая его причина; в полнейшем изнеможении Симпсон вернулся к месту стоянки. Остается удивляться, как ему вообще удалось найти дорогу назад. Это стоило юноше невероятных усилий – лишь после долгих скитаний из стороны в сторону он увидел наконец между деревьями белый верх палатки и вздохнул с облегчением.

Физическая усталость притупила его чувства, послужив своего рода лекарством, и Симпсон немного успокоился. Разведя костер, он позавтракал. Горячий кофе и бекон вернули ему чувство реальности и способность рассуждать, и он понял наконец, что вел себя как мальчишка. Теперь необходимо было предпринять еще одну, более успешную попытку, спокойно оценив сложившуюся ситуацию. Когда свойственное его натуре мужество, как и следовало ожидать, явилось к нему на помощь, Симпсон принял решение провести планомерное, сплошное прочесывание окрестностей, а в случае неудачи постараться отыскать дорогу к главному охотничьему лагерю, чтобы призвать на помощь друзей.

Так он и поступил. Прихватив с собой немного еды, спички, ружье и топорик, дабы делать на деревьях зарубки, по которым можно было бы вернуться к стоянке, он приступил к исполнению намеченного плана. Ровно в восемь утра Симпсон покинул лагерь; солнце, поднявшись над лесом, уже ярко светило в безоблачном небе. Перед уходом юноша приколот к колышку возле костра записку для Дефаго – на случай, если тот вернется на стоянку первым.

На этот раз, согласно тщательно продуманному плану, Симпсон пошел по широкому кругу, который рано или поздно должен был пересечь след проводника; и в самом деле, не пройдя и четверти мили, он обнаружил на снегу следы какого-то крупного зверя, а рядом более легкие и мелкие отпечатки, по всей видимости оставленные человеком – следовательно, Дефаго. Облегчение оказалось кратковременным, хотя поначалу Симпсон и увидел в найденных следах простое объяснение произошедшего: крупные отпечатки, решил он, были оставлены лосем, – вероятно, идя по ветру, зверь случайно набрел на охотничью стоянку и, поняв это, издал обычный, предупреждающий об опасности тревожный рев. Дефаго, чей охотничий инстинкт развит до сверхъестественного совершенства, надо полагать, почуял запах несколько часов назад прошедшего по ветру зверя. Его вчерашняя смятенность чувств и внезапное исчезновение утром, скорее всего, и были вызваны тем, что...

Но здесь зыбкие предположения Симпсона, за которые в первый момент он с такой готовностью ухватился, теряли всякую убедительность, ибо здравый смысл безжалостно подсказывал юному шотландцу, что он выдает желаемое за действительное. Ни один проводник, даже куда менее опытный, чем Дефаго, не решился бы действовать столь неразумным образом: отправиться по следу зверя без ружья!.. Одну за другой перебирал он в памяти подробности случившегося и с каждой минутой все яснее осознавал, что они требуют неизмеримо более тонкого истолкования: и душераздирающий вопль ужаса, и в высшей мере странные восклицания проводника, и его испуганное, посеревшее лицо, когда он впервые уловил неведомый

ему дотоле запах, и приглушенные одеялом рыдания в темной палатке, и, наконец, внутреннее, какое-то животное отвращение Дефаго именно к этому странному клочку земли...

Более того: чем пристальнее Симпсон приглядывался к звериным следам, тем яснее понимал – это вовсе не следы лося! Хэнк самым подробным образом обрисовал ему как-то особенности отпечатков, оставляемых копытами лосей – и самца, и самки, и детенышей; даже изобразил их на куске бересты. Сейчас же Симпсон столкнулся с чем-то совершенно иным. Эти следы были намного крупнее и шире, почти круглые, без четких очертаний, свойственных отпечаткам лосиных копыт. Уж не медведю ли принадлежат эти следы? Ни одно другое животное никак не ассоциировалось в его сознании с тем, что он видел, тем более карибу – хотя, впрочем, в это время года они не заходят так далеко на юг, – ведь отпечатки карибу в любом случае должны были сохранить форму копыт.

То были некие зловещие знаки, некие таинственные письмена на снегу, оставленные неведомым существом, коварно выманившим человека за черту безопасности... И когда юноша соединил их в своем воображении с пронзительным, всепроникающим криком, нарушившим мертвое рассветное безмолвие, голова его пошла кругом, а неопиcуемый страх вновь объял душу. Ему предстал самый ужасный вариант случившегося. Снова нагнувшись, чтобы получше рассмотреть жуткие отпечатки, он уловил рядом с ними слабое присутствие того же сладковатого, но нестерпимо острого запаха – и, отпрянув прочь, выпрямился во весь рост, борясь с позывом к тошноте.

Но память вновь услужливо подкинула хвоста в огонь: Симпсон зримо представил не прикрытые одеялом, высунувшиеся за пределы палатки ноги Дефаго; его тело, как бы насильно подтянутое к выходу; испуганное движение проводника, словно отшатнувшегося от чего-то ужасного, что ждало его снаружи... Новые эти подробности, сойдясь воедино, безжалостно атаковали потрясенный разум юноши. Казалось, они зарождались в бесконечных глубинах необъятного молчаливого леса, и дух древесных дебрей витал над юным богословом, прислушиваясь, приглядываясь к каждому его движению. Лесная глушь, обступив, теснила его.

Но вопреки всему, с отважной непреклонностью истинного шотландца, Симпсон продолжил поиски, стараясь по возможности не терять из виду обнаруженный след, глуша в себе чувство ужаса, которое, как ему казалось, только ждало удобного момента, чтобы расслабить его собранную в комок волю. Оставляя бесчисленные зарубки на деревьях, дабы не заблудиться, он упрямо шагал все дальше и дальше, время от времени громко провозглашая имя исчезнувшего своего компаньона. Частое звонкое постукивание топорика по древесным стволам отзывалось в голове Симпсона неестественным отголоском его собственных криков, и вскоре в душе юноши вновь зашевелился ужас: ведь это постукивание выдавало и само его присутствие здесь, и точное местонахождение, заставляя вообразить, что кто-то мог охотиться и за ним точно так же, как сам он шел сейчас по чужим следам...

Симпсон изо всех сил отгонял от себя эту мысль, но она с завидным постоянством возвращалась к нему. Он понимал, что подобные рассуждения могут привести к дьявольской путанице в мозгу, которая способна нарушить душевное равновесие, и тогда... тогда быстрая и неизбежная физическая гибель...

* * *

Хотя снег и не раскинулся сплошным покровом, а лежал лишь узкими полосами в прогалинах между деревьями, поначалу идти по следу было нетрудно. Однако затем расстояния между отпечатками начали удлиняться и скоро достигли таких размеров, что стали казаться совершенно невероятными даже для самого крупного зверя, какого только можно вообразить. То были отдаленные друг от друга следы, похожие на краткие прикосновения к земле во время невероятных прыжков или даже перелетов по воздуху. Одно из таких расстояний Симпсон

измерил – оно оказалось равным восемнадцати футам: засомневавшись в своих выводах, он попытался обнаружить на снегу хоть какие-то промежуточные отпечатки, но, к своему изумлению, не нашел. Растерянность все сильнее овладевала им. Более же всего смущало, заставляя подозревать даже некий обман зрения, то обстоятельство, что и шаги самого Дефаго увеличивались пропорционально шагам зверя и покрывали теперь абсолютно невероятные расстояния. Симпсон, обладавший куда более длинными ногами, не смог бы, даже совершая прыжки с разбегу, преодолеть и половины такой дистанции.

Эти отстоящие немыслимо далеко друг от друга следы двух пар столь сильно разнящихся между собой конечностей – свидетельство некоего ужасного, немыслимого бега, понуждаемого страхом или безумием, – породили в душе юноши невыразимое волнение. Он был потрясен и ошеломлен неожиданным открытием. Ничего более ужасного ему видеть не приходилось. Он шел теперь по следу почти бездумно, механически, то и дело оглядываясь через плечо, словно проверяя, не преследует ли и его кто-нибудь такими же гигантскими скачками... И скоро он уже вообще перестал понимать, что могли означать эти неведомые отпечатки, оставленные на снегу какой-то ужасающей, дикой и неусмирённой тварью, постоянно сопровождаемые следами ног его товарища – маленького канадского француза, всего лишь несколько часов назад делившего с ним палатку, весело болтавшего, смеявшегося и даже что-то напевавшего...

Учитывая юный возраст и недостаточную опытность Симпсона, можно почти наверняка утверждать, что только прирожденная осмотрительность шотландца, воспитанного на уважении к здравому смыслу и логике, помогла ему сохранить душевное равновесие в столь необычайных обстоятельствах. В противном случае то, что он обнаружил некоторое время спустя, продолжая отважно продвигаться дальше по следу, должно было повергнуть его в паническое, неудержимое бегство – назад, в относительную безопасность стоянки, к теплу костра и замкнутому пространству палатки; но вместо этого ошеломляющие разум новые открытия лишь побуждали его еще крепче сжать пальцы на стволе ружья и всем сердцем, воспитанным для предстоящего служения Церкви, вознести к высоким небесам бессловесную мольбу о помощи. Вскоре оба следа – он сразу это понял – претерпели странные перемены; особенно пугающими были изменения, произошедшие с отпечатками человеческих ног.

Впрочем, поначалу переменам подверглись крупные следы – и Симпсон долго не мог поверить собственным глазам: то ли древесные листья, гонимые ветром, производили на снегу странную игру света и тени, то ли сухой снег, запорошивший, словно тонко размолотая рисовая мука, края следов, бросал на них световые блики, то ли они и в самом деле постепенно приобретали непонятную окраску? Так или иначе, но вокруг глубоких вмятин, оставленных на снегу конечностями неведомого существа, появился загадочный красноватый оттенок, который Симпсону поначалу куда больше хотелось приписать непонятному световому эффекту, нежели цветовому изменению в самом веществе снега. Присущий каждому новому следу и все более различимый, огнистый отсвет привносил в общую картину случившегося новый зловещий колорит.

Когда же, не в силах объяснить этот феномен и поверить в него, Симпсон перенес свое внимание на человеческие следы, желая уяснить, не несут ли и они в себе подобное свидетельство загадочных метаморфоз, он, к своему ужасу, обнаружил нечто гораздо худшее. На последней сотне ярдов следы его компаньона начали принимать все большее сходство с соседним, крупным следом! Изменения эти происходили почти неуловимо, но неоспоримо. И было трудно установить, с чего они начались. Результат же, однако, не вызывал сомнений: следы были мельче, четче, определенной и теперь являли собой точное подобие следов неведомой твари. Но, значит, и ноги человека тоже должны были измениться! Когда юноша окончательно осознал этот факт, что-то в уме его, охваченном отвращением и ужасом, восстало в яростном протесте.

Симпсон испытал минутное колебание, но, устыдившись собственного малодушия и преодолев нерешительность, сделал еще несколько поспешных шагов вперед – и остановился как вкопанный!.. Впереди, насколько хватал глаз, следы отсутствовали – словно их никогда и не было... Напрасно он метался из стороны в сторону, отмеряя одну сотню шагов за другой. Ему не удалось найти ни единого признака продолжения этих следов. Они – исчезли! Дальше простиралось ничто.

Вокруг возвышались отдельно стоящие крупные стволы елей, кедров, сосен; подлеска между ними практически не было. В отчаянии озираясь вокруг, Симпсон, обезумевший от горя, почти не помнящий себя и утративший способность рассуждать здраво и разумно, несколько минут не мог сдвинуться с места. Вернув самообладание, он вновь пустился на поиски следов – круг за кругом, еще и еще, но с неизменным результатом. Ноги, столь долгое время оставлявшие на поверхности снега отпечатки, теперь – это было очевидно, – оторвавшись от земли, вознеслись куда-то ввысь!

И именно в этот миг, миг крайнего горя и смятения, всепоглощающий ужас нанес в сердце Симпсона новый, точно рассчитанный удар. Он грянул со смертоносной мощью, окончательно лишив шотландца присутствия духа. Бессознательно, в некоем тайнике души, юноша все время ждал этого удара – и вот он грянул.

Высоко над головой послышался плачущий, до странности тонкий и заунывный, приглушенный неимоверной высотой и расстоянием голос проводника Дефаго. Звук этот низвергнулся на Симпсона с притихшего зимнего неба как гром, разящий безжалостно и наверняка. Ружье выпало из его рук и ударилось о мерзлую землю. На миг Симпсон замер словно в столбняке, застыв каждой клеточкой тела; затем сделал несколько шагов вперед и, инстинктивно ища опоры, прислонился спиной к ближайшему дереву, безнадежно опустив руки и утратив какое-либо подобие порядка в мыслях и в душе. Это было самое сокрушительное ощущение из всех, какие ему когда-либо доводилось испытывать в жизни; мозг и сердце юноши опустели, словно их продуло жестоким неожиданным сквозняком.

– О! О, мои ноги!.. В них огонь!.. Они горят!.. О, какая безумная высота!.. – доносился с неба умоляющий о пощаде, мученический, летящий из немыслимых далей голос. И вдруг все стихло, словно звуки голоса утонули в безмолвии дикой, ко всему прислушивающейся лесной глуши.

Симпсон почти не контролировал своих действий, ясно осознавая только одно: когда неожиданно для себя юноша принялся метаться из стороны в сторону, искать, звать, спотыкаясь о камни и древесные корни, безумно, неуправляемо рваться куда-то, – он рвался к нему, к Зовущему!.. Лишенный защиты памяти и разума, призванных ограждать человека от опасных реакций на все неожиданное, он, подобно капитану корабля в бушующем море, готовому взять курс даже на призрачные, предательские огни, поддался страху, заполонившему сердце и душу. Ибо голосом этим зывали к нему Ужас Лесной Глуши – Непокоренная Мощь Далей – Обольщение Пустынных Мест, губящие человека, разрушающие само его существо. В единый миг юный шотландец постиг все муки, порождаемые безнадежной, безвозвратной утратой, муки неутолимых страстей и тоску душевного одиночества, которое ожидает в конце жизни каждого человека. Пламенем, летящим сквозь мрачные руины мыслей и чувств, маячил перед ним образ несчастного Дефаго, обреченного неведомой чуждой силой на отчаянный, бесконечный полет в небесном просторе над этими древними лесами...

Казалось, что миновала вечность, прежде чем Симпсон нащупал твердую точку в хаосе спутанных, разрозненных чувств, на которую он смог наконец опереться, чтобы собрать волю в комок и заставить себя вернуться к доводам разума...

Крики с неба более не повторялись; хриплые зовы самого Симпсона не находили ответа; непостижимые силы безвозвратно взяли Дефаго под свою власть – и крепко держали в плену.

* * *

Но, вероятно, еще долгие часы после случившегося Симпсон рыскал вокруг и оглашал окрестности своим зовом, ибо, когда он решился наконец прекратить бесплодные поиски и вернуться в опустевший лагерь на берегу залива Пятидесяти Островов, было уже далеко за полдень. Он возвращался с болью в душе; в ушах все еще звенели отзвуки рыдающего голоса Дефаго. С большим трудом Симпсон отыскал брошенное ружье и собственный след, ведущий к стоянке. Острое чувство голода и необходимость сосредоточиться, чтобы быть в состоянии различать на стволах деревьев небрежно сделанные зарубки, помогали ему сохранять твердость духа. В противном случае временное помутнение рассудка могло достичь опасного предела, за которым человека ждет гибель. Шаг за шагом к Симпсону возвращалось душевное равновесие, близкое к его нормальному, спокойному самоощущению.

И все же обратный путь в грозно надвигающихся сумерках был ужасен. Расстроенные чувства по-своему трансформировали каждый звук: то Симпсону чудились за спиной чьи-то бесшумные, преследующие его шаги; то будто кто-то позади смеялся и перешептывался; то за деревьями и валунами юноше мерещились зловеще пригнувшиеся неясные фигуры: они делали друг другу какие-то знаки, словно сговариваясь, едва он приблизится, напасть на него. Всякий шорох в листве заставлял его остановиться и прислушаться. Он шел крадучись, стараясь производить как можно меньше шума, прячась за стволами деревьев. Лесные тени, до той поры дружески защищавшие и прикрывавшие его, сделались теперь врагами – они грозили, пугали, бросали ему вызов; в мрачном их великолепии для его испуганного, подавленного разума таился целый сонм всевозможных опасностей, ибо надвигающаяся темнота делала их загадочно неразличимыми. За каждой подробностью уже случившегося и того, что ждало впереди, крылось предчувствие ужасной, неминуемой гибели.

Как ни удивительно, но юному шотландцу удалось вернуться на стоянку победителем; люди, наделенные несравненно большим опытом и зрелым умом, могли бы выйти из тех же тяжелых испытаний с куда меньшим успехом. Отныне Симпсон был предоставлен самому себе, но все его последующие действия доказали, что он способен правильно оценить свое положение. Спать было нельзя – это не вызывало сомнений, но равным же образом представлялось крайне неразумным пускаться незнакомой дорогой, в кромешном мраке, в обратный путь, к главной стоянке; и он, не выпуская из рук ружья, просидел всю ночь перед костром, не позволяя огню ни на минуту угаснуть. Мучительная, тревожная напряженность этого чуткого бодрствования навсегда запала ему в душу; но ночь прошла без новых потрясений, а с первыми же проблесками рассвета Симпсон двинулся в долгий путь к главной стоянке, чтобы призвать на помощь друзей. Он снова приколот к сучку записку, объясняющую причину его отсутствия и указывающую место, где спрятаны спички и достаточный запас провизии, – хотя едва ли теперь можно было надеяться, что к ним прикоснется рука человека!

Уже одно то, как Симпсон без проводника преодолел путь через лесные чащи и озеро, само по себе достойно целого рассказа – слушателям юного богослова довольно было впоследствии и этих подробностей, чтобы всей кожей почувствовать отчаянное, напряженное одиночество человека, попавшего в ловушку Лесной Глуши, которая цепко держит его своими бесконечно длинными руками и насмехается над ним. Нельзя было не восхититься неукротимой волей и отвагой юноши.

Симпсон вовсе не похвалялся своей смекалкой или сноровкой, когда утверждал, что двигался по едва приметному следу практически бездумно, механически. Именно это, скорее всего, и помогло ему. Он положился на руководящую силу подсознания, инстинкта, на некое чувство врожденной способности ориентироваться в пространстве, свойственное животным и дикарям. Так или иначе, Симпсону удалось преодолеть весь этот сложный путь и выйти в конце

концов к тому месту, где Дефаго три дня назад укрыл спасительный челнок; слова проводника, брошенные тогда как бы между прочим, глубоко засели в памяти юноши: «Если со мной что случится, постарайся вернуться к лодке по... зарубкам... А дальше плыви прямо на запад, к солнцу... Так до лагеря и доберешься...»

Хотя солнце не больно-то баловало Симпсона своим присутствием, оно было для него единственно верным проводником, и он до конца использовал этот природный компас; и вот наконец с облегчением юноша уселся в уютную лодчонку, чтобы проделать по воде последние мили пути, с радостью осознавая, что зловещий лес остался далеко позади. К счастью, на этот раз воды были спокойны, и, вместо того чтобы держаться более безопасного берега, Симпсон взял курс на самую середину озера, сократив таким образом путь на целых двадцать миль. Повезло ему и в том, что двое других охотников вернулись на место главной стоянки раньше, чем он. Огонь разожженного ими костра послужил ему путеводной звездой: не будь ее, пришлось бы ему, скорее всего, рыскать вдоль берега всю ночь напролет.

Близилась полночь, когда приставшая к берегу лодка прошуршала наконец днищем по песку небольшой бухты. Хэнк, Панк и дядя Симпсона, Кэскарт, пробужденные ото сна криками с озера, поспешили к берегу и помогли юноше – этому шотландскому образчику человеческой породы, физически изможденному и духовно сломленному, – пошатываясь, преодолеть последние десятки шагов по скалистой тропе, ведущей к загасшему костру.

Вторжение прозаической дядиной фигуры в призрачный мир колдовских превращений и ужаса, окружавший Симпсона в течение двух суток, показалось юноше – как он того ни ждал – неожиданным и невероятным, оно немедленно произвело благотворное воздействие, позволив взглянуть на случившееся как бы со стороны. Живительные звуки родного голоса, воскликнувшего: «Хэлло, мой мальчик! Ну теперь-то что стряслось?», и энергичное пожатие сухощавой крепкой руки вернули его к иному уровню суждения об окружающем. Внезапная перемена чувств словно омыла его душу. Он даже устыдился своей слабости – как мог он позволить себе так распуститься? Привычное, свойственное его нации здравомыслие взяло верх, и Симпсон вновь бодро вскинул голову.

Эта внутренняя перемена, без сомнения, позволит объяснить, почему Симпсон вдруг почувствовал, как трудно будет рассказать дяде и Хэнку, ожидавшим у костра начала его истории, о том, что произошло, – в подробностях, ничего не упустив. Впрочем, даже немногих его фраз оказалось достаточно, чтобы все трое тотчас приняли решение: утром, как можно раньше, отправиться на поиски Дефаго; а поскольку Симпсону предстояло выступить в роли проводника, прежде всего ему следовало подкрепиться и, уж само собой, хорошенько выспаться. Доктор Кэскарт, оценивший состояние племянника с куда большей проницательностью, чем тот подозревал, настоял на небольшой инъекции морфия, после чего Симпсон проспал шесть часов как убитый.

Когда впоследствии юный богослов представил своим слушателям более обстоятельный отчет о случившемся, обнаружилось, что в первом, кратком рассказе он опустил многие весьма существенные подробности. В те минуты под пристальным взглядом дяди, всем своим обликом олицетворявшего трезвое, прозаическое отношение к жизни, юноша не осмелился упомянуть о них. А потому спутники его пришли к простому, лежащему на поверхности выводу: по всей видимости, ночью несчастного Дефаго постиг острый, необъяснимый приступ безумия, – очевидно, ему померещилось, будто кто-то или что-то «зовет» его к себе, и он, не помня себя, без ружья и пищи, кинулся в лес, где и обречен – если ему не будет вовремя оказана помощь – на ужасную, мучительную смерть от холода и голода. Более того, «вовремя» в данной ситуации означало «немедленно».

Однако на другой день – а они двинулись в путь в семь утра, оставив лагерь на попечение Панка с наказом в любое время иметь наготове еду и разожженный костер, – Симпсон считал возможным раскрыть перед дядей пошире истинную подоплеку произошедшего; впрочем,

юноша даже не догадывался, что новые подробности были искусно вытянуты из него с помощью весьма тонко проведенного допроса. К тому времени, как охотники достигли места, где была укрыта лодка, Симпсон уже успел рассказать о смутном намеке проводника на существо, которое он называл Вендиго, и о всхлипываниях Дефаго во сне; проговорился он также и о других симптомах душевного смятения своего компаньона, признавшись, что и на него самого этот «особенный» запах – «острый и едкий, словно исходящий от льва» – произвел ошеломляющее впечатление. А когда они пересекали залив Пятидесяти Островов и снова выдался свободный час, с языка его сорвалось еще одно смущенное признание – в том, что, услышав с неба отчаянный зов исчезнувшего проводника, он впал в поистине истерическое состояние. Юноша не посмел повторить прозвучавшие в этом вопле странные, казавшиеся нелепыми фразы. С той же робостью, описывая процесс постепенного уподобления, пусть и в миниатюре, отпечатков человеческих ног следам животного, он не решился рассказать, что расстояние между ними становилось с каждым новым гигантским скачком все более продолжительным и превышающим все допустимые нормы. Постоянно балансируя между боязнью уронить собственное достоинство и желанием во всем остальном остаться честным и искренним, Симпсон мучительно пытался решить, о чем все-таки следовало сказать открыто, а что было бы лучше утаить. Он, к примеру, поведал товарищам, как отпечатки на снегу постепенно стали принимать огненный оттенок, но не упомянул, что и самого проводника, и его постель кто-то пытался вытащить из палатки...

В результате всех этих его колебаний и недомолвок доктор Кэскарт – всегда почитавший себя тонким психологом – достаточно убедительно заключил, что в какой-то момент разум племянника, угнетенный чувством одиночества, смятения и страха, спасовал перед нервным перенапряжением и поддался галлюцинациям. Поминутно всячески одобряя действия Симпсона, Кэскарт тем временем установил главное: где, когда и как племянник утратил власть над собой. Он призвал юного богослова оценить собственное поведение по справедливости – в какие именно моменты Симпсон считает свои действия достойными самой высокой похвалы, а в какие он проявлял большее неразумие, нежели можно было допустить даже при минимально реалистической оценке наблюдаемых фактов. То есть, подобно многим другим убежденным материалистам, доктор Кэскарт исходил из констатации явной недостаточности уровня человеческих знаний, ибо его лесной интеллект вообще не допускал возможности обретения исковой достаточности.

– Воздействие ужасного одиночества, затерянности человека в первородной пустыне, – рассуждал он, – не может оставить безучастным ни один ум – я, конечно, имею в виду людей, обладающих высокой способностью к воображению. Мне и самому, когда я был в твоём возрасте, довелось испытать такое же воздействие дикого мира на мои незакаленные ещё чувства. Зверь, бродивший возле нашей стоянки, был, без сомнения, обыкновенным лосем – общеизвестно, что «зов», или «клич», лося порой может приобретать весьма своеобразное звучание. Иллюзия странной окрашенности крупных следов была, очевидно, вызвана неким искажением твоего зрительного восприятия, обусловленного вполне понятным волнением. Размеры отпечатков на снегу и расстояния между ними мы определим точнее, когда прибудем на место. А услышанный тобой голос с неба – это всего лишь одна из обычных форм слуховых галлюцинаций, вызываемых нервным возбуждением – перевозбуждением, мой дорогой мальчик, вполне извинительным и, позволь мне ещё добавить, блестящим образом взятым твоей волей под контроль. В заключение же я обязан прямо заявить: в столь исключительных обстоятельствах ты действовал с необыкновенным мужеством, ведь боязнь потерять в лесной глуши самообладание почти непреодолима; доведись мне самому оказаться на твоём месте, я далеко не уверен, что сумел бы хотя бы на четверть повести себя так же умно и решительно, как ты. Единственное, чему я пока не могу найти объяснение, – это проклятый запах, о котором ты говорил.

– Но клянусь, меня от него чуть не стошнило! – воскликнул Симпсон. – У меня даже голова закружилась!

Позиция невозмутимого всезнания, занятая дядей лишь по праву знакомства с несколько большим числом психологических дефиниций, вызвала в племяннике желание хоть с чем-то не согласиться. Нет ничего легче, чем с видом всепонимающего мудреца истолковывать не испытанные тобой переживания.

– В этом запахе сквозил оттенок какой-то безнадежности, даже несчастья и, я бы сказал, ужаса, вот, пожалуй, и все, больше здесь нечего добавить, – заключил Симпсон, обводя взглядом невозмутимо спокойную фигуру сидящего рядом с ним дяди.

– Можно только поражаться, – тут же откликнулся Кэскарт, – что в такой ситуации тебе не почудилось что-нибудь похуже.

Бесстрастные эти слова, отметил про себя юноша, повисли в некоем пространстве между имевшей место правдой и тем, как ее интерпретировал его дядя.

* * *

За разговорами они добрались наконец до покинутой Симпсоном стоянки, где обнаружили остывшее кострище, а на колышке рядом с ним – никем не тронутую записку. Тайничок с провизией, устроенный неопытными руками, уже успели отыскать и разорить ондатра, норка и белка. Продукты были растащены до последней крошки, остались лишь рассыпанные по поляне спички.

– Ну что ж, – громко, по своему обыкновению, констатировал Хэнк, – здесь его точно нет! Клянусь богом, это так же верно, как то, что уголька в преисподней хватит на всех с избытком! А вот найти его теперь будет куда труднее, чем мне попасть в рай и торговать там венчиками для праведников!

Он пересыпал свою речь словечками, которые прежде не позволил бы себе употребить в присутствии юного богослова, но мы из уважения к читателю предпочли опустить их.

– По мне, так рассусоливать тут нечего, – добавил Хэнк решительно, – берем ноги в руки – и ходу!

Нехитрые, будничные признаки недавнего присутствия Дефаго на опустевшей стоянке действовали на всех троих угнетающе, заставив их с особой остротой и болью почувствовать опасность нынешнего его положения, чреватого угрозой скорой гибели, которая рисовалась им мучительной и ужасной. Особенно действовал на них вид опустевшей палатки с постелью из пихтового лапника, все еще примятой и уплощенной, словно бы напоминающей о том, что совсем недавно Дефаго находился в такой близости к ним. Симпсон, смутно чувствуя, что каждое его слово может оказаться решающим для успеха поисков, вполголоса принялся уточнять подробности произошедшего. Теперь речь его текла сдержанней и спокойней, хотя долгие переходы, конечно же, сильно утомили юношу. Дядин подход к объяснению деталей, а более всего его стремление «найти всему достаточно понятное истолкование» все же оказались полезны, так как помогали племяннику несколько охлаждать эмоции, то и дело возбуждаемые вновь ожившими воспоминаниями о случившемся.

– Он кинулся туда. – Симпсон указал рукой направление, в котором исчез проводник. – Помчался, как олень, напрямик между теми березой и сосной...

Хэнк и доктор Кэскарт переглянулись.

– А в двух милях отсюда, если двигаться по прямой, – продолжал Симпсон, и в голосе его вновь послышался трепет пережитого ужаса, – я обнаружил следы и шел по ним, пока они вдруг не исчезли – начисто, будто и не было!..

– А где ты услышал, что он зовет тебя, где почуял вонь и увидел все прочие распроклятые штучки? – вступил в разговор Хэнк, и столь необычное для него многословие выдало всю остроту переживаемого им горя.

– И в каком месте волнение довело тебя до галлюцинации? – вполголоса, но достаточно громко, чтобы племянник мог расслышать, добавил к сказанному Хэнком доктор Кэскарт.

* * *

До темноты оставалось добрых два часа, и нельзя было терять ни минуты. Доктор Кэскарт и Хэнк немедленно отправились по следу, оставив изможденного юношу на стоянке: ему предстояло поддерживать огонь в костре и одновременно отдыхать.

Руководствуясь зарубками Симпсона на стволах деревьев, а кое-где и отпечатками на снегу, они шли достаточно быстро. Но часа через три совсем стемнело, и пришлось ни с чем вернуться обратно. Свежевыпавший снег запорошил почти все следы, и, хотя Кэскарт и Хэнк успели добраться до места, откуда Симпсон повернул назад, им не удалось обнаружить присутствия ни единого живого существа – ни человека, ни зверя. А впереди и вовсе снег лежал девственно непотревоженным.

Предстояло решить, что предпринять дальше – хотя, в сущности, нечего было и пытаться сделать больше того, что они уже сделали. Поиски могли растянуться на многие недели без каких-либо шансов на успех. Недавно выпавший снег свел на нет все их надежды. Приунывшие, помрачневшие охотники собрались вокруг костра, чтобы поужинать. И в самом деле, было над чем призадуматься – на Крысиной переправе несчастного Дефаго ждала жена. Его случайные заработки были единственным средством существования для всей семьи.

Теперь, когда охотникам открылась правда во всей ее очевидной жестокости, стало ясно, что бесполезно и дальше пытаться скрывать что-то друг от друга или недоговаривать. Без утайки и недомолвок открыто рассуждали они о том, что произошло и можно ли в сложившейся ситуации еще хоть что-нибудь предпринять. Это был не первый случай – даже на памяти доктора Кэскарта, – когда человек не выдерживал искушения одиночеством и терял рассудок; к тому же Дефаго и без того был предрасположен ко всякого рода странностям, в крови его уже растекалась меланхолия, усугубляемая запоями, которые порой длились неделями. И что-то на этот раз – никто никогда не сможет сказать, что именно, – послужило последним толчком к пропасти безумия, только и всего. И он ушел – ушел в нескончаемую глушь лесов и озер, чтобы погибнуть от холода и истощения. Шансы на то, что он сумеет вернуться на стоянку, были ничтожны; овладевшее им бредовое состояние могло усугубиться, а в таком случае и до насилия над собой недалеко, хотя оно лишь приблизит ужасный конец. И быть может, пока они беседуют тут у костра, самое худшее уже свершилось. Однако, по предложению Хэнка, старого и закадычного приятеля Дефаго, было решено провести ночь на стоянке, а весь следующий день, от рассвета до темноты, посвятить самым тщательным, какие только возможны, поискам пропавшего проводника. Прилегающую к лагерю часть леса они поделили на три сектора – по числу отправляющихся на поиски людей – и принялись уточнять мельчайшие детали плана, ибо понимали, что обязаны предпринять все, на что только способен в подобных обстоятельствах человек.

Не обошли они в разговоре и ту особую форму, в какой проявилось воздействие Ужаса Лесной Глуши на разум несчастного Дефаго. Хэнку, в общих чертах знакомому с легендой о Вендиго, эта тема, судя по всему, была не по вкусу, и он неохотно участвовал в беседе. Впрочем, Хэнк признал, что несколькими индейцам уже довелось осенью прошлого года «видеть Вендиго» на берегах залива Пятидесяти Островов – вот почему Дефаго и не был расположен охотиться в этих местах. Посмеявшись над другом и переубедив его, Хэнк сейчас, ясное дело, испытывал раскаяние, ибо в каком-то смысле способствовал гибели Дефаго. «Когда кто-нибудь

из индейцев сходит с ума, – пояснил он, обращаясь, пожалуй, больше к самому себе, нежели к собеседникам, – всегда говорят, что он, дескать, „видел Вендиго“. А старина Дефаго был так суеверен – аж до самых пяток!..»

Тогда-то Симпсон, сочтя оборот беседы вполне подходящим, и пересказал заново всю историю, все свои недавние переживания, не скрыв на этот раз ни единой подробности, в том числе и собственных чувств и страхов. Он опустил только странные слова Дефаго, которые тот выкрикивал с высоты.

– Но, дорогой мой, я полагаю, что Дефаго достаточно подробно рассказал тебе легенду о Вендиго, – продолжал гнуть свою линию доктор Кэскарт. – А в таком случае можно допустить, что впечатляющая эта выдумка запала тебе в душу и под воздействием возбужденной фантазии и волнения развилась в твоём воображении дальше – не так ли, мой мальчик?

И тогда Симпсон выложил все от начала до конца. Дефаго, объяснил он, только мельком упомянул об этой странной твари. Сам же он, Симпсон, никогда раньше не слышал легенду о Вендиго и, насколько помнит, ничего не читал о ней. Даже само это слово ему незнакомо.

Без сомнения, Симпсон говорил правду, и доктор Кэскарт вынужден был скрепя сердце допустить необычность всего случившегося. Но об этом свидетельствовали не слова доктора, а прикрывавшая их тень неуверенности в собственной правоте. Опиравшийся спиной о крепкий толстый ствол дерева, Кэскарт то и дело наклонялся к угасавшему костру и ворошил его, заставляя вновь ярко пылать; прежде всех улавливал он малейший звук в сгустившейся ночной мгле – плеск рыбы в озере, потрескивание сухого сучка в лесу, шуршание упавшего с ветки снега. Изменился и тон его голоса – теперь доктор говорил тише и не так самоуверенно. На маленькой охотничьей стоянке уже хозяйничал страх, и при общем желании всех присутствующих переменить тему единственным, о чем они, казалось, способны были сейчас рассуждать, оставалось все то же – источник подступившего к ним ужаса. Все их усилия были тщетны: ни о чем другом разговор не завязывался. Лишь Хэнку удавалось держать себя в руках и ограничиваться редкими замечаниями. Но и он больше не смел повернуться к темноте спиной. Лицо его постоянно было обращено в сторону леса, и, когда возникала нужда подбросить в костер дров, он старался не уходить за ними ни на шаг дальше, чем требовалось.

Охотников плотно обступила стена безмолвия: снег лежал еще тонкой пеленой, но и ее было довольно, чтобы умертвить все звуки в лесу, а окрепший к вечеру мороз властвовал над природой. Слышались только приглушенные человеческие голоса да слабое гудение пламени. Лишь изредка где-то рядом ощущался легкий трепет, подобный вибрации крылышек мотылька. Было очевидно, что никому не хотелось идти спать. Тем временем близилась полночь.

– Что ж, легенда сама по себе весьма причудлива, – после долгого молчания произнес доктор, продолжая разговор просто для того, чтобы нарушить паузу. – Но ведь, по правде сказать, Вендиго не что иное, как олицетворенный зов ветра, который слышат лишь очень немногие, – слышат на собственную погибель.

– Во-во, – откликнулся вдруг Хэнк. – И когда услышишь такое, ни в чем не усомнишься. Ведь обращаются прямо к тебе и называют тебя по имени.

Снова повисла томительная пауза. И тут доктор Кэскарт вернулся к тому, о чем никто уже не хотел говорить, – и с такой настойчивостью, что заставил своих собеседников заерзать.

– Это иносказание весьма правдоподобно, – отметил он, вглядываясь в окружавшую их темноту, – ведь голос, как утверждают, напоминает все наводящие тоску лесные звуки: шум ветра, шорох падающей воды, звериные крики и прочее в том же роде. И стоит поддавшемуся слабости человеку услышать такое – ему, считай, конец! Самые же уязвимые места жертвы этого наваждения – ноги и глаза; ноги, как вы понимаете, страдают из-за их стремления к неустанному странствованию, глаза – из-за жадности к наслаждению красотой. Бедняга на бегу развивает такую скорость, что у него начинают кровоточить глаза, а ноги сжигает жар.

Доктор Кэскарт продолжал тревожно вглядываться в ночной мрак. Голос его снизился до едва слышного шепота.

– Потому и говорят, – добавил он, – что Вендиго сжигает ноги своей жертвы: очевидно, это происходит из-за их сверхъестественного трения о почву, вызванного невероятной скоростью передвижения, – так они и горят, пока вовсе не отпадут, а на их месте не отрастут новые, как у самого Вендиго.

Симпсон слушал речь дяди со все возрастающим изумлением и ужасом, но еще больше его пугала необыкновенная бледность, разлившаяся по лицу Хэнка. Юный богослов с трудом сдерживал желание заткнуть уши и закрыть глаза.

– Но ведь ноги даже не касаются земли, – медленно, намеренно растягивая слова, произнес Хэнк, – человек летит так высоко, что ему кажется, будто это звезды обжигают его. Только иногда Вендиго делает тяжелые, длинные прыжки, пролетая над вершинами деревьев, а потом швыряет свою жертву с высоты на землю, подобно тому как морской ястреб швыряет пойманную рыбку, чтобы убить ее, прежде чем съесть. Однако в отличие от ястреба Вендиго избрал себе самую что ни на есть никудашную пищу – мох! – Хэнк натянуто рассмеялся. – Пожиратель мха – вот он кто такой, этот Вендиго! – И проводник обвел возбужденным взглядом лица собеседников. – Да, пожиратель мха! – повторил он, сопроводив свои слова целым каскадом самых замысловатых, какие только мог изобрести, ругательств.

Но Симпсон уже уловил затаенную подоплеку этого разговора. Больше всего его компаньоны – сильные и многоопытные, хотя и каждый на свой лад, – боялись сейчас молчания. Они продолжали говорить и говорить, стремясь заговорить само время. Непрерывным потоком слов они боролись с окружавшим их мраком, с нарастающим паническим ужасом, с покающейся мыслью о том, что посмели незванными гостями вступить в этот чуждый, враждебный им мир, – они готовы были на все, лишь бы не позволить возобладать над собой самым худшим, тщательно скрываемым от других опасением. Куда менее опытный юноша, переживший накануне жуткую бессонную ночь, имел сейчас некоторое превосходство над ними. Он уже достиг той крайней степени ужаса, за которой неизбежно следует тупая невосприимчивость к нему. Эти же двое – и ироничный, все подвергающий холодному анализу доктор, и прямодушный, своенравный «лесной житель» – испытывали глубокий душевный трепет.

Тянулись часы, а трое человеческих существ, осмелившихся забраться в самое сердце Дикой Природы, продолжали сидеть у костра, коротая время в негромких разговорах, безрассудно толкуя об ужасной, не дающей им покоя легенде, ни на миг не забывая о грозящей опасности и собирая все силы для возможной схватки с невидимым врагом. Силы, конечно же, были неравны, ибо Дикая Природа уже использовала преимущество первого удара – и взяла заложника. Судьба несчастного Дефаго нависала над ними грозовой тучей, и напряжение в конце концов стало невыносимым.

Хэнк первым не выдержал последней, самой длительной паузы, оборвать которую, казалось, никто из них уже был неспособен, и позволил вырваться на свободу накопившемуся напряжению; произошло это весьма неожиданным образом: он вдруг вскочил на ноги и издал невообразимо громкий, душераздирающий вопль, разнесшийся далеко по ночному лесу. Чтобы усилить свой зов, он неоднократно менял его тональность, вибрируя ребром прижатой к губам ладони.

– Это для Дефаго, – объяснил он тут же, оглядев своих компаньонов со странным, вызывающим смехом. – Готов биться об заклад, – здесь мы опускаем всю сопутствующую его речи замысловатую брань, – что мой старый приятель крутится сейчас где-то совсем близко от нас.

Неистовство и безрассудство выходки Хэнка, весь этот крайне нелепый спектакль произвели соответствующий эффект: Симпсон в испуге и изумлении вскочил с места, а доктор, вдруг утратив обычное хладнокровие, даже выпустил трубку изо рта. Конечно, лицо Хэнка было ужасно, но Кэскарту тем не менее не следовало позволять себе обнаруживать перед всеми

подобную слабость. В следующую же минуту в глазах его засверкал гнев, доктор неспешно поднялся на ноги и глянул с упреком в лицо своему не в меру возбудившемуся проводнику. Поступок Хэнка был глуп, опасен и, конечно, абсолютно недопустим, поэтому Кэскарт намеревался подавить его нелепый бунт в зачатке.

Предположить, что могло бы произойти на стоянке в следующую минуту, не так уж трудно, хотя предположения отнюдь не всегда соответствуют действительности, тем более что времени на долгие рассуждения не было: вслед за глубоким безмолвием, поглотившим неистовый вопль Хэнка, как бы в ответ на этот душераздирающий призыв в ночном небе над головой охотников что-то промчалось с ужасающей скоростью – нечто громадное, неотвратимое, заполнившее собой всю окружающую массу воздуха, а ниже – между деревьями – прозвучал слабый, испуганный, исполненный неопишуемой муки, вызывающий о помощи человеческий крик:

– О! О! Какая ужасная высота! О, мои ноги! Они горят! Они в огне!..

Хэнк, белый как мел, с глупым, растерянным видом оглядывался вокруг. Доктор Кэскарт с выражением крайнего ужаса повернулся к палатке, словно ища в ней убежища, и издал невнятный возглас, но тут же застыл на месте, не в силах пошевелиться. Единственным, кто сумел до известной степени сохранить присутствие духа, был Симпсон. Он уже слышал прежде призывы Дефаго с небес да к тому же был слишком испуган, чтобы немедленно отреагировать на произошедшее.

Придя в себя и обернувшись к пораженным своим товарищам, он почти спокойно произнес:

– Именно этот крик я тогда и слышал и примерно те же слова!

А затем, обратив лицо к небу, начал громко звать:

– Дефаго! Дефаго! Спустись! Спустись к нам!

Но прежде чем его компаньоны успели осознать случившееся, в ближнем лесу что-то тяжело прогромыхало, прорываясь сквозь древесные кроны, и, ударяясь о ветви, с глухим грохотом упало на мерзлую землю. Треск и шум, пронесшиеся по лесу, были ужасающи.

– Это он, да поможет ему милостивый Господь! – вырвался из уст Хэнка полуприглушенный испуганный шепот; рука его непроизвольно потянулась к висящему на поясе охотничьему ножу. – И он уже идет сюда! Да, он идет сюда! – добавил Хэнк с испуганным, бессмысленным смехом, как только стали отчетливо слышны тяжелые, неверные шаги – кто-то с хрустом и скрипом, ступая по снегу, двигался сквозь мрак к светлому ореолу костра.

Шаги неотвратимо приближались, а трое мужчин недвижно и безмолвно стояли вокруг костра. Доктора Кэскарта будто парализовало, он был не в силах даже перевести взгляд. Лицо Хэнка выдавало душевную муку, – казалось, он готов совершить новый отчаянный поступок, но не мог ни на что решиться. В эту минуту он был словно вытесан из камня. Все трое походили на застывших в испуге детей, являя собой олицетворенный ужас. Разглядеть что-либо в кромешной тьме не представлялось возможным, а шаги тем временем все приближались, все слышней становился хруст мерзлого снега. Это бесконечное – слишком долгое, а потому почти нереальное, – размеренное и неотвратимо беспощадное приближение Неизвестного было поистине кошмарным.

Наконец непроглядный мрак словно вытолкнул из себя смутную, едва различимую фигуру. Она вступила в полосу неверной полутьмы, образованной ночными тенями и колеблющимися отсветами пламени, и остановилась футах в десяти от охотников, устремив на них пристальный взгляд. Но тут же, совершив порывистое, судорожное движение, таинственная фигура, словно управляемая кем-то на расстоянии, снова стала перемещаться вперед, все ближе к костру, к яркому свету – только теперь охотники различили в ней очертания человека... Это был Дефаго.

Казалось, лица наблюдавших за этой сценой людей спрятались за масками страха – из мира реальности, преодолевая грань нормального человеческого видения, три пары неподвижных глаз будто смотрели теперь в Неведомое.

Дефаго медленно продвигался вперед, поступь его была все такой же неуверенной и тяжелой; сначала он направился как бы ко всем троим сразу, не выделяя никого из них, но затем резко повернул голову и уставился на Симпсона. С губ его сорвался странный звук, и послышался знакомый голос Дефаго:

– Я здесь, босс Симпсон. Меня кто-то звал. – Голос звучал еле слышно, холодно и бесстрастно, он казался натужным, задышающимся, словно каждое слово давалось с неимоверным напряжением. – Я здесь, я все время в полете, в этом адском огне.

И Дефаго засмеялся – неуклюже поворачиваясь, он, казалось, кивал в сторону двух других обращенных к нему полулиц-полумасок.

Но этот смех неожиданно вернул к жизни охотников, только что являвших собой ряд восковых фигур с мертвенно-бледными лицами. Хэнк тотчас прыгнул вперед, изрыгая поток ругательств – столь причудливых и вычурных, что Симпсону не удалось различить в них почти ни одного английского слова, и он даже принял речь проводника за индейскую тарабарщину или неведомый ему жаргон. Но чутье подсказало юноше, что неожиданный выпад Хэнка, вторгшегося в пространство между Дефаго и обоими шотландцами, оказался как нельзя более желательным и своевременным. Однако и доктор Кэскарт, несколько оправившийся от испуга, также сделал два-три медленных, тяжелых шага вперед.

Позже Симпсон с огромным трудом, весьма смутно мог припомнить свои слова и действия в последующие несколько секунд, ибо глаза отвратительного, ужасного призрака испытующе пристально уставились в его собственные глаза и находились в такой непосредственной близости, что юноша совершенно растерялся и мог лишь недвижимо стоять, не произнося ни слова. Симпсон не обладал закаленной волей старших своих товарищей, позволявшей им действовать вопреки любому душевному потрясению. Он наблюдал за происходящим как будто через стекло, отчего все казалось почти нереальным и напоминало дурной сон. Юноша вспоминал потом, что поток бессмысленных ругательств Хэнка перемежался властными, твердыми и повелительными фразами дяди, – кажется, он говорил что-то о пище, о виски, о костре и тепле, об одеялах и прочем... А далее над всем воцарилась бьющая в ноздри струя странного, всепроникающего, мерзкого и в то же время сладковато-дурманящего запаха, которым сопровождалось все, что происходило на стоянке в последующие минуты.

И однако, именно Симпсон – куда менее опытный и искусный, чем его компаньоны, – повинаясь спасительному инстинкту, произнес фразу, немного разрядившую напряженную психологическую атмосферу и выразившую тяжелое сомнение, терзавшее сердце всех троих охотников.

– Ты... ты в самом деле Дефаго? – спросил он тихим, прерывающимся от ужаса голосом.

И, прежде чем кто-либо успел хотя бы шевельнуть губами, зазвучал громкий, решительный голос доктора Кэскарта:

– Ну разумеется! Разумеется, это он! Неужели вы сами не видите?! Просто он едва жив от холода, истощения и страха. Случившееся с ним кого угодно могло довести до неузнаваемости.

Этими словами доктор Кэскарт пытался убедить в своей правоте не столько других, сколько самого себя, и лишь подчеркнутая выразительность и горячность речи выдавали затаившееся в его душе сомнение. Он говорил и двигался, не отнимая платка от лица: омерзительный запах был вездесущ.

Сидевший теперь возле жаркого костра закутанный в одеяло человек – жалкий, съежившийся, прихлебывавший виски и державший в исхудалой руке еду – имел не большее сходство с Дефаго, каким они привыкли его видеть, чем фотография шестидесятилетнего старика – с дагеротипом, сделанным с этого человека в ранней его юности, да к тому же в костюме тех дав-

них времен. Невозможно найти слова, чтобы хоть приблизительно описать эту жуткую карикатуру, эту пародию, выдающую себя в неверном свете костра за истинного, живого Дефаго. Впоследствии, перебирая в памяти обрывки тех давних, темных и ужасных впечатлений, Симпсон утверждал, что в облике новоявленного Дефаго было больше животного начала, нежели человеческого, что черты его имели странные, неправильные пропорции, дряблая кожа на лице и на руках отвисала расслабленно и вяло, как если бы ее до того долго мяли и растягивали. Да и вообще лицо это смутно напомнило юноше жуткие рожи, какие для забавы делают из бычьих пузырей уличные торговцы на Ладгейт-Хилл, – резко меняющие свои черты, когда их сильно надувают, они, сжимаясь, издают слабые жалобные звуки, сходные с человеческим голосом. Не менее мерзким показался Симпсону и голос этого отвратительного существа, назвавшегося Дефаго. Кэскарт, пытавшийся много времени спустя передать словами это неопишемое явление, говорил, что так могли бы выглядеть лицо и тело человека, прошедшего испытание внезапно и сильно разреженным воздухом: когда атмосферное давление меняется столь резко, весь организм грозит разорваться в клочья, а позже принимает некий несообразный вид.

И один лишь Хэнк, убитый горем, потрясенный до глубины души неистовым потоком переживаний, с которыми он никогда не имел дела и которых не понимал, расставил наконец все на свои места. Отойдя от костра на некоторое расстояние и заслонившись на мгновение ладонями от ослепляющего света, он принялся громко вопить – и в голосе его невероятным образом слились ярость и нежность:

– Ты не Дефаго! Совсем, совсем не Дефаго! Будь я проклят, если это ты, старый мой приятель, каким я знаю тебя вот уже двадцать лет! – Свирепым, ненавидящим взглядом он уперся в съезжившуюся у костра фигуру, словно желая испепелить ее дотла. – Хоть убей, это не ты! Пусть мне суждено до скончания века швабрить пол в преисподней клочком ваты на зубочистке, да хранит меня милосердный Господь! – продолжал Хэнк, сопровождая свои вопли отчаянными жестами, выражающими крайний ужас и отвращение.

Не было силы, способной сейчас оборвать его крик. Стоя в стороне от костра, он исторгал свои вопли с видом человека, в которого со всех сторон впиваются жала всего того, на что страшно было смотреть, что невозможно было слышать, – ибо Хэнк говорил правду. Он повторял свой приговор десятками самых разнообразных способов – один другого хитрей и замысловатей. Крики его эхом отдавались в окрестных лесах. Казалось, еще минута – и он набросится на ненавистного «чужака»: рука его так и рвалась к висевшему на поясе длинному охотничьему ножу.

Но Хэнк не сделал этого, он не предпринял вообще ничего, и весь его бурный, неистовый порыв разрешился чуть ли не слезами. Крики вдруг резко оборвались, Хэнк как подкошенный рухнул на землю, и подбежавший к нему доктор Кэскарт уговорил его пойти в палатку и лечь. Но и оттуда Хэнк продолжал пристально следить за всем, что происходило у костра; его бледное, искаженное страхом лицо время от времени появлялось за приоткрытым пологом палатки.

Доктор Кэскарт, неотступно сопровождаемый племянником, который по-прежнему ухитрялся лучше остальных сохранять спокойствие духа, снова подошел к костру и остановился напротив странной фигуры, склонившейся к огню. Не отводя глаз от лица «призрака», он заговорил. И голос его вначале звучал достаточно жестко и требовательно:

– Скажи нам, Дефаго, в двух словах, что случилось с тобой? Должны же мы понять наконец, как помочь тебе.

В вопросах доктора, заданных твердым, властным тоном, слышался приказ. Это и было прямым приказанием. Но тут же голос Кэскарта дрогнул: сидевший у костра человек повернулся, и в лице его проглянуло нечто столь жалостное, ужасное и нечеловеческое, что доктор отпрянул в сторону, будто от нечистой силы. Симпсон, стоявший за спиной дяди, утверждал впоследствии, что пугающее это лицо показалось ему маской, которая вот-вот спадет, а под ней вдруг обнаружится во всей своей наготе нечто темное, дьявольское.

– Будь с нами честным, дружище, откройся нам! – В голосе доктора Кэскарта теперь слышались страх и мольба. – Мы больше не в силах переносить все это!.. – уже кричал доктор, ибо инстинкт взял верх над разумом.

Наконец тот, кто назвался Дефаго, ответив мертвенно-бледной улыбкой, заговорил еле слышным, слабеющим и, казалось, приобретающим уже какое-то новое, странное качество голосом.

– Я видел великого Вендиго, – почти шептал он, и ноздри его шевелились, как у животного, внюхиваясь в окружающий воздух. – И я был вместе с ним...

Успел бы он добавить еще что-то к сказанному, сумел бы доктор Кэскарт продолжить свой пристрастный допрос, теперь сказать невозможно, ибо в тот же миг от палатки донесся истощенный вопль Хэнка, а за пологом блеснули его испуганные глаза. Так Хэнк не кричал никогда.

– Ноги! Его ноги! Бог мой! Посмотрите на них – они же изменились, они огромные. Боже, какие огромные!

Отвечая доктору Кэскарту, сидевший у костра повернулся, и его ноги впервые оказались на свету. Но Симпсон не смог увидеть то, что разглядел из палатки Хэнк. Впоследствии же Хэнка ни разу не удавалось застать в таком состоянии, чтобы можно было получше расспросить его обо всем. В тот же миг доктор Кэскарт одним прыжком, словно испуганный тигр, оказался рядом с Дефаго и склонился над ним, торопливо прикрывая его ноги одеялом, – все произошло столь стремительно, что юный богослов едва успел уловить мелькание чего-то темного и до странности массивного там, где он ожидал увидеть обутые в мокасины ноги проводника; но промелькнувшая перед его глазами картина не оставила какого бы то ни было ясного впечатления.

Прежде чем доктор Кэскарт успел выпрямиться, а Симпсон задаться вопросом, который зрел в его мозгу, Дефаго уже поднялся: он стоял перед ними, с трудом и видимой болью переминаясь с ноги на ногу, его искаженное лицо, лишенное привычных черт, приняло выражение столь мрачное и злобное, что стало просто чудовищным.

– Теперь и вы видели, – хрипло пробормотал он, – видели мои горящие в огне ноги! Но... вы не смогли спасти меня, уберечь от этого... вот и снова пришло мое время, когда...

Внезапно его жалобный, молящий о помощи голос был прерван звуком, подобным завываниям ветра над озером. Деревья затрясли кронами, зашумели тесно переплетенными ветвями. Языки пламени в пылающем костре припали к земле и сейчас же яростно полыхнули к небу. Над маленькой охотничьей стоянкой с ужасным, оглушительным шумом пронеслось что-то невидимое, на какой-то момент обьяв собой все вокруг. Дефаго сбросил с плеч и колен окутывавшие его одеяла, повернулся лицом к лесу и, сделав несколько неуклюжих, неуверенных шагов, подобных тем, что так напугали охотников, вдруг растворился в воздухе – прежде чем кто-либо успел шевельнуть хотя бы пальцем, чтобы попытаться воспрепятствовать этому; исчез стремительно, с ошеломляющей, хотя и неуклюжей быстротой, не оставляющей времени для раздумий и действий. Мрак в буквальном смысле поглотил его. Не прошло и десяти секунд, как трое застывших от изумления мужчин слышали дикий вопль, заставивший биться их сердца в бешеной пляске ужаса, – вопль, перекрывший вой внезапно налетевшего ветра и шум ломаемых бурей деревьев, вопль, грянувший на них с немыслимой высоты и из запредельной дали:

– О! О! Какая обжигающая высота! О, мои ноги, они горят! Мои ноги в огне...

И столь же внезапно этот отчаянный зов замер вдали, посреди необозримых пространств и мертвого безмолвия.

Доктор Кэскарт, первым пришедший в себя, успел крепко схватить за руку Хэнка, пытавшегося в безрассудном порыве кинуться следом за другом в объятый мраком лес.

– Но я хочу, чтобы ты знал – именно ты, – отчаянно вопил Хэнк, вырываясь из рук своего патрона, – это не он... вообще не он! В его кожу влез дьявол!..

Невероятными усилиями – доктор Кэскарт признал впоследствии, что никогда не подозревал в себе подобных способностей, – удалось-таки утихомирить разбушевавшегося проводника и препроводить его обратно в палатку. И хотя с Хэнком доктор и в самом деле справился самым удивительным образом, но куда больше он испугался за собственного племянника, до той минуты проявлявшего великолепное самообладание: многодневное нервное перенапряжение прорвалось вдруг наружу в виде слезливой истерики, и Кэскарту пришлось немедленно изолировать юношу от потрясенного проводника, уложив в постель, наспех устроенную из мягких ветвей и одеял.

И пока над одиноким, затерянным в лесной глуши охотничьим лагерем истекали остатки ночи – для доктора Кэскарта то были часы бессонного, какого-то призрачного бдения, – юный богослов лежал, выкрикивая в сбитые комом одеяла дикие слова и фразы. В бреду он бормотал что-то об ужасной скорости, о невероятной высоте, о пламени и огне, перемежая все эти несуразности с обрывками библейских текстов, усвоенных им в учебных аудиториях. «Они уже идут, о, как горят их лица, они страшны, нелепы, и поступь их ужасна, они все ближе, ближе...» – жалобно стонал юноша, поминутно вскакивая, а потом садился на постели и, с напряжением вслушиваясь в мертвое безмолвие, устремлял невидящие глаза в темноту леса и в страхе шептал: «Как ужасны их ноги... у тех, кто там, в диком лесу...» – и дядя кидался к нему, перебивал его речи, стараясь успокоить, отвлечь, дать другое направление лихорадочным его мыслям.

К счастью, истерика оказалась кратковременной. Сон излечил юного богослова, как, впрочем, и Хэнка.

До пяти утра, пока не обозначились первые признаки рассвета, нес доктор Кэскарт свою ночную стражу. Лицо его посерело, а под глазами разлились синяки. Все эти бессонные, безмолвные часы воля его боролась с ужасом и смятением, охватившими душу. Внутренняя борьба доктора и нашла отражение в его внешнем облике.

С рассветом Кэскарт разжег костер, приготовил завтрак и разбудил Хэнка и Симпсона; около семи утра они были уже на пути к главной стоянке – трое сокрушенных и растерянных мужчин, хотя каждый из них в меру своих сил усмирил внутреннее смятение и в той или иной степени восстановил в душе равновесие.

Они говорили мало и по большей части о самых обыденных, малосущественных вещах, но тревожные вопросы продолжали мучительно беречь им души, настоятельно требуя решения. Хэнк, ближе всех стоявший к первобытной природе, первым сумел наконец обрести себя. Доктора Кэскарта от яростного натиска необычного защищала его «цивилизованность». Но с этого дня кое в чем он уже не чувствовал абсолютной уверенности – во всяком случае, на «обретение самого себя» ему понадобилось больше времени, чем его компаньонам.

Юному богослову, пожалуй, лучше других удалось восстановить душевное равновесие. Однако он ни в коей мере не претендовал на научную обоснованность своих выводов. Там, в самом сердце еще не укрощенной человеком лесной глуши, рассуждал Симпсон, они оказались, без сомнения, очевидцами чего-то извечно жестокого, от природы грубого и по существу своему первобытного. Нечто, невероятным образом отставшее от своего времени и поневоле смилившееся с появлением на земле человека, теперь вдруг вырывалось наружу с ужасающей силой, как низшая, чудовищная и незрелая стадия жизни. Он видел во всем случившемся своего рода прорыв – случайное, мимолетное проникновение в доисторические времена, когда сердца людей еще были угнетены дикими, всеохватывающими, беспредельными суевериями, а силы природы – неподвластны новым хозяевам жизни на земле, – Силы, населявшие первобытный мир и еще не до конца вытесненные из современного бытия. Позже в одной из своих проповедей он определил их как «неукротенные, свирепые Силы, что до сих пор кроются

и в глубинах душ человеческих, – быть может, и не злонамеренные по сути своей и все же инстинктивно враждебные по отношению к человеку, каким он предстает ныне на земле».

Никогда впоследствии Симпсон не обсуждал с дядей происшедшие события в подробностях, ибо преграда, разделяющая их столь различные складки ума, неизменно препятствовала этому. Лишь однажды, многие годы спустя, когда какой-то спор между ними привел их на грань запретной темы, он задал дяде единственный вопрос:

– Можешь ли ты все же сказать мне – на что они были похожи?

Ответ дяди, по существу своему мудрый, ни в коей мере не удовлетворил племянника.

– Было бы куда лучше, – заметил Кэскарт, – если бы ты не пытался более докапываться до истины.

– Ну допустим, а как насчет того запаха? – настаивал племянник. – Что ты сказал бы о нем?

Доктор Кэскарт пристально поглядел на Симпсона и поднял брови.

– Запахи, дорогой мой, – ответил он, выдержав паузу, – не так просты и доступны для телепатического общения, как голос или человеческий облик. Согласимся, что я понимаю в этом столь же много или, лучше сказать, столь же мало, сколь и ты сам.

С известных пор в своих рассуждениях он уже не позволял себе быть излишне многословным, как это случалось прежде.

* * *

К исходу дня трое охотников – замерзшие, изнуренные, терзаемые голодом – завершили наконец долгую переправу через озеро и, чуть не падая с ног от усталости, дотащились до главной стоянки. На первый взгляд она показалась им брошенной. Костер не горел, и Панк, вопреки ожиданиям, не кинулся к ним навстречу с добрыми словами приветствия. Чувства всех троих были измотаны и притуплены, а потому никто не выразил вслух удивления или досады; и вдруг непроизвольный, исполненный необычайной ласки и нежности вопль, сорвавшийся с уст Хэнка, еще раз напомнил о происшедшей с ними поразительной истории, обретающей наконец завершение: как безумный, опередив всех, кинулся проводник к остывшему кострищу. И доктор Кэскарт, и его племянник признавались впоследствии: когда они увидели Хэнка упавшим на колени и с восторгом обнимавшим некое живое существо, которое, еле шевелясь, полулежало возле остывшей груды золы, они до глубины души прониклись предощущением, что это нечто, без сомнения, их пропавший и вновь обретенный проводник, настоящий, подлинный Дефаго.

Так оно и оказалось.

Однако это утверждение сильно опережает события. Радость была преждевременной. Истощенный до последней степени маленький канадский француз – вернее, то, что от него осталось, – вяло ползал вокруг кучки золы, пытаясь снова разжечь костер. Скрючившись в три погибели, он возился со спичками и сухими веточками – слабые его пальцы еще кое-как повиновались долголетней, давно уже ставшей инстинктом жизненной привычке. Но, чтобы управиться до конца с простейшим этим действием, инстинкта уже не доставало – разум же был утрачен безвозвратно. А вместе с ним Дефаго лишился и памяти. Не только события последних дней, но и вся долгая, предшествовавшая необычайным событиям жизнь обратилась для него в белое пятно.

Тем не менее на этот раз у костра находилось подлинно человеческое существо, хотя и невероятно, ужасающе усохшее. Лицо его не выражало никаких чувств – ни страха, ни радости узнавания, ни приветствия. Похоже, бедняга не узнавал ни того, кто так горячо обнимал его, ни тех, кто обогрел и кормил его, произнося слова утешения и поддержки, – покинутый,

сломленный, оказавшийся за пределами всякой человеческой взаимопомощи, он лишь кротко и бессловесно исполнял волю других. То, что некогда составляло его Я, исчезло навсегда.

Одним из наиболее тяжелых воспоминаний в жизни все трое впоследствии охарактеризовали бессмысленную, идиотскую улыбку, с которой Дефаго вдруг вытащил из-за раздувшихся щек мокрые комки грубого мха и сообщил, что он и есть «проклятый пожиратель мха»; от самой простой пищи его постоянно рвало. Но больше всего тронул охотников его жалобный, по-детски беспомощный голос, когда Дефаго принялся уверять, что у него болят ноги – «горят как в огне», чему, впрочем, нашлась вполне естественная причина: осмотрев несчастного страдальца, доктор Кэскарт обнаружил, что обе его ноги сильно обморожены. Под глазами Дефаго еще были заметны следы недавнего кровотечения.

Как перенес он столь длительное пребывание в лесной глуши под открытым небом без пищи и обогрева, где он скитался, как удалось ему преодолеть огромное расстояние между двумя стоянками, включая и долгий пеший обход вокруг озера, – все эти подробности так и остались неизвестными. Память покинула Дефаго навсегда. Лишенный разума, души и воспоминаний, он протянул лишь несколько недель и ушел из жизни вместе с зимой, начало которой ознаменовалось для него столь странным и печальным происшествием. Впоследствии индеец Панк добавил кое-какие детали к уже известным событиям, но его рассказ не помог пролить свет на эту темную историю. Около пяти часов вечера – то есть за час до того, как вернулись охотники, – он чистил рыбу на берегу озера, когда вдруг увидел похожего на тень, с трудом ковылявшего к стоянке проводника, которому предшествовало, по словам Панка, слабое дуновение какого-то необычного запаха.

Не раздумывая, индеец собрал манатки и поспешил к родному дому. Все расстояние – добрых три дня ходу – он преодолел с той невероятной быстротой, на какую способен лишь человек его крови. Панка гнал ужас, давно поселившийся в крови племени, к которому он принадлежал. Уж он-то отлично понимал, что означало «увидеть Вендиго».

Ивы

Перевод М. Макаровой

I

Уже миновав Вену, но задолго до Будапешта оказываешься в той части Дуная, где река течет, куда ей заблагорассудится, абсолютно пренебрегая законным своим руслом, и вот, куда ни глянь, на многие мили вокруг раскинулись топкие хляби, сплошь покрытые стелющимся низко ивняком. На больших картах это пустынное пространство закрашено голубым цветом – мутным у берегов и постепенно высветляющимся ближе к середине русла, а поперек этой неравномерной голубизны скачущими буквами выведено: «stimpfe», что означает – «болота».

В половодье эти огромные песчаные полосы, насыпи из гальки и поросшие ивами островки почти целиком скрыты под водой, но в остальное время ивы шелестят и гнутся от прихотливого ветра, сверкая на солнце серебристыми листьями, – огромная равнина непрестанно колыхается, неуловимо изменчивая и ошеломляюще прекрасная. Ивы, ивы, ивы... С их поникшими макушками, зыбкими контурами и тонкими ветвями, послушными малейшему дуновению ветра, им никогда не попасть в благородную когорту деревьев – за неимением крепких надежных стволов им остается лишь безропотно смириться с тем, что их всегда будут считать только кустами. Гибкие, как травинки, они пребывают в постоянном движении, и оттого кажется, что все это зеленое пространство *дышит*, что оно – *живое*. Ветер будоражит его, вздымая зеленые волны, и полная иллюзия, будто перед тобою самое настоящее море, – до того момента, пока ветки вдруг не вскинутся упруго вверх, заголив бело-серебристые изнанки листьев.

Вывавшись из плена берегов, Дунай с наслаждением растекается по множеству каналов и канавок, то совсем узких, то широких, как улицы. Вода с шумом несется, омывая островки. Она затевает кутерьму из водоворотов, воронок, пенных водопадов, вгрызается в песчаные берега, отхватывая от них кусок за куском; она вымывает почву из-под корней ив – и тут же лепит новые острова, ежечасно изменяя их величину и очертания. И это еще не самая худшая участь для островов: в половодье река их вообще заглатывает целиком...

Итак, наиболее яркие впечатления поджидали нас сразу же за Пресбургом. Надо сказать, эта часть путешествия прилась на середину июля, то есть на самый пик половодья, именно тогда, погрузив в канадское каноэ свой «цыганский шатер» да котелок, мы двинулись в путь. В то памятное утро, в час, когда небо едва еще начинало розоветь, мы, лихо руля, проплыли мимо сладко дремавшей Вены, и часа через два на горизонте замаячили в легком мареве синие холмы Венского леса; завтракали мы, чуть отплыв от фишерамендской березовой рощи, тревожно шумевшей под яростными порывами ветра; потом нас вынесло на быстрину, и мимо один за другим промелькнули Орц, Хайнбург и Петронелл (при Марке Аврелии его величали Карнунтом), а там уж нас обступили угрюмые вершины Тебена – это на отрогах Карпат, где слева неприметно подступает Моравия и проходит граница между Австрией и Венгрией.

На скорости двенадцать километров в час мы довольно быстро одолели часть Венгрии, но вдруг вода резко помутнела – верная примета паводка! – и началось... Мы то садились на мель, утыкаясь в галечные наносы, то нас, как жалкую пробку, крутило в бесчисленных водоворотах. Наконец на горизонте показались башни Пресбурга (по-венгерски – Pozsony), и тут наша лодчонка рванулась вперед, как норовистая лошадь, – с дикой скоростью промчавшись вдоль серых крепостных стен и благополучно миновав затопленную переправу у Висячего моста (Fliegende Brücke), мы, после того как нас резко занесло влево, сначала взмыли

на гребне желтоватой пены, а потом будто провалились в сказочное царство ив, сотканное из множества диких островков, песчаных отмелей и топей.

Это произошло так неожиданно... Представьте, что вам показывают диапозитивы с городскими видами, и среди них вдруг попадается лесная поляна или берег озера... Мы словно на крыльях влетели в заповедное пространство – через полчаса рядом не было ни лодок, ни рыбачьих сетей, ни иных примет человеческого присутствия. Цивилизация осталась позади, первозданная прелесть этого необычного мирка, состоящего из ивовых зарослей, из порывов ветра, из множества потоков и журчащих струй, околдовала нас; блаженно посмеиваясь, мы тут же постановили, что нам срочно требуются особые паспорта, позволяющие пребывание в этом маленьком чудо-королевстве, куда наше каноэ ненароком вторглось и где живут лишь избранные. Оставаясь незримыми, эти счастливчики словно предупреждали нас, чужаков: не вздумайте искать с нами встречи.

Хотя до вечера было еще довольно порядочно, мы, донельзя измученные назойливым ветром, стали немедленно присматривать место для ночлега. Однако вскоре выяснилось, что в этом лабиринте островов высадиться на сушу совершенно невозможно, хотя нас к ней то и дело прибывало, ибо тут же какими-то глубинными течениями относило вновь, как ни пытались мы удержаться у берега, хватаясь за скользкие ивовые ветки израненными в кровь пальцами. Несколько раз нам даже удалось причалить, но илистая кромка тут же уходила под воду, не выдержав тяжести нашего каноэ. К счастью, внезапно подувшим боковым ветром нас снесло в тихую заводь, и мы, подняв тучи брызг, взяли наконец берег приступом.

Отдуваясь и подшучивая над своим невезением, мы, не в силах сдержать стона счастья, растянулись на горячем желтом песке; солнце палило во всю мочь, небо было безоблачным и синим, со всех сторон нас обступали легионы колышущихся, ликующе шелестящих ивовых кустов. Они искрились алмазными каплями, они хлопали тысячами узеньких листьев-ладошек, словно аплодировали нашей победе.

– Ну и река! – невольно вырвалось у меня, когда я перебрал в памяти все этапы нашего путешествия, начатого у ручейка, затерявшегося в чащобах Шварцвальда. Тогда, в первых числах июня, нам частенько приходилось перетаскивать лодку на себе – виной тому были сплошные отмели и перекаты.

– Надеюсь, судьба нам не устроит больше никаких сюрпризов? – пробормотал мой приятель, потом на всякий случай подтянул наше каноэ еще выше, рухнул на песок и, свернувшись калачиком, закрыл глаза.

Я, блаженствуя, лежал рядом и упивался ласками нескольких стихий разом – воды, ветра, песка и щедрых солнечных лучей; лежал и размышлял о том, что солидную часть пути мы уже одолели, однако пройти предстоит еще больше – до самого Черного моря. Хорошо, что у меня есть друг, на которого можно положиться: Свид отличный малый и непоседа под стать мне – такого в четырех стенах не удержишь.

Мы прошли с ним уже немало рек, но Дунай покорило наше сердце своим небывалым жизнелюбием. Оно проявлялось еще в тонюсеньком игривом ручейке, упрямо торившем путь среди сосновых боров Донауэшингена, – и уж тем более теперь, в этом могучем потоке, который закрутил-заморочил нас, вовлек в свои неумные проказы, раздавшись среди пустынных болот в прямо-таки необъятную ширь... Дунай мы воспринимали уже как живое существо, которое росло не по дням, а по часам, становясь все более зрелым и сильным. В этом довольно смирном поначалу мальчугане по мере возмужания просыпались кипучие страсти и желания; теперь уже он зрелый мужчина, знающий себе цену, который, красуясь, раскинул свое огромное текучее тело на территории нескольких стран. Снисходительно терпя на своих мускулистых плечах наше легонькое каноэ, этот гигант время от времени затевал с нами рискованные игры, но вполне добродушно, без всякого злого умысла. В конце концов мы безоговорочно признали его Великой Рекой.

Да и могло ли быть иначе, ведь Дунай открыл нам столько своих секретов! Лежа ночью в палатке, мы слышали, как он с характерным присвистом – говорят, так же вода шелестит в прибрежной гальке, – напевал луне какую-то волшебную мелодию. Время от времени невидимки-водовороты дразнили нас, с гулким бульканьем выпуская на поверхность гроздь пузырьков. Вскоре мы научились различать раздраженное шипение песка на отмелях, когда игривые струи воды слишком донимали его; мы познали бешеную скорость дунайских стремнин и то, как обманчива зеркальная гладь – под нею постоянно что-то вскипает и стонет. И кто бы знал, с какой заботливостью наш могучий приятель омывал ледяной водичкой берега! А каким он становится взъерошенным, когда по нему хлещет дождь, каким бранчливым! И этот его раскатистый хохот, когда ветер дует против течения, словно пытаясь сдержать неукротимый напор водной массы! Да, мы уже знали все его всхлипы, вскрики и шорохи, эти всегда внезапные броски, неожиданно вспенивающиеся хребты волн и дурашливые наскоки на опоры мостов; вот он смущенно бормочет что-то себе под нос – наверняка задел по неосторожности подножья холмов, а вот его тон становится нарочито надменным – это когда он пронесет свои воды мимо всякой мелюзги, маленьких провинциальных городишек, – и звучит столь естественно, что подвоха сразу и не заметишь; ну а потом, когда солнце, настигнув слегка утомившийся на плавной излучине поток, начинает припекать всерьез, так что над водной гладью курится прозрачная дымка, с его уст срывается лишь едва слышный ласковый лепет...

Дунай и в нежном возрасте, начиная свой путь скромной речушкой и еще не ведая, что ему суждено стать огромной, знаменитой на весь мир рекой, был совсем не похож на паиньку. В верховьях – где-то в районе Швабских лесов – ему очень нравилось выкидывать такие вот шутки: юркнет в какую-нибудь нору, а потом вынырнет на поверхность в стороне от пористых известковых холмов, притворившись совсем другой рекой и даже сменив имя. И если бы только это, а то ведь он и воду свою умудрялся куда-то припрятать, так что нам приходилось пешим ходом преодолевать многокилометровые отмели, изнемогая под тяжестью каное...

Но больше всего этот непочтительный юнец любил изображать из себя Братца Лиса из «Сказок дядюшки Римуса» – заляжет в низине и плетется будто бы на последнем издыхании, ну а когда с Альп к нему устремляется какой-нибудь резвый приток, жаждущий с ним слиться, в нем вдруг просыпается жизнь: наш строптивец держится особняком, не подпуская чужака к своему руслу, категорически не желая признавать его. И тот покорно плетется рядом. Только за Пассау этот фокус хитрецу не удастся, потому что несущийся наперерез приток Инн слишком велик и напорист, чтобы считаться с чьим-либо суверенитетом, – он бесцеремонно вторгается в вотчину Дуная, и на каком-то отрезке русла им настолько тесно вдвоем, что наш гордец готов лезть на скалы, лишь бы отделаться от настырного попутчика. Кипя от ярости, так что по нему ходуном ходят пенные буруны, он предпринимает отчаянные попытки уйти от преследования: то отступит, то сделает резкий рывок, но вырваться из теснины не может – соответственно, наше каное то еле-еле дрейфует на мелководье плесов, то его захлестывает свирепыми волнами. Как бы то ни было, Инн преподал этому надменному одиночке хороший урок – после Пассау Дунай начал принимать своих водных вассалов с большим почтением.

Как же далеки теперь эти отроческие забавы. Великая Река успела продемонстрировать нам совсем иные грани своей переменчивой натуры. Вдоль пшеничных полей Баварии, раскинувшихся у города Штраубинга, она текла с такой чинной неспешностью, что мы поняли: это неспроста. Под прогретой жарким июльским солнцем прозрачной, отсвечивающей серебром толщей наверняка таятся молчуны-ундины – плывут себе невидимой стайкой к морю, покорные медлительности струй, чтобы случайно не выдать себя нетерпеливым плеском хвостового плавника...

Мы многое прощали Дунаю за доброе отношение ко всякому зверью и птицам, в изобилии обитающим на его берегах. В укромных местах рядом сидят бакланы, очень похожие издали на черный частокол; серые вороны настырно каркают в галечных насыпях; на мелко-

воде между островков замерли аисты, выслеживая рыбу; лебеди, ястребы и всякая болотная живность оглашают окрестности то хлопаньем крыльев, то пением, то зычными криками. Разве можно было сердиться на его капризы, подсмотрев спозаранку, как плюхается в воду олениха и плывет мимо нас; а славные мордочки оленят, глазающих из-за кустов на наше каноэ, или опасливый взгляд карих очей отца оленьего семейства, который мы чуем на себе, огибая очередную излучину. Лисы тоже навешиваются на отмели – грациозно семена по грудам сплавляемых бревен, они умеют мгновенно, как по волшебству, исчезать.

Да, после Пресбурга наш Дунай заметно остепенился. Больше никаких проказ. Все-таки прожито уже почти полрусла, и впереди по курсу совсем другие страны, где не терпят и не понимают шуток. Малыш вдруг разом повзрослел, требуя от нас уважения и даже покорности. В какой-то момент он растекся по трем рукавам, которые лишь через сто километров должны были слиться воедино, и мы решительно не знали, какой из них избрать.

– Только не боковые, – твердо сказал нам венгерский офицер, с которым мы разговаривали в местном магазинчике, запасаясь провизией. – Если паводок пойдет на убыль, можно запросто застрять на какой-нибудь отмели, милях в сорока от всякого жилья и пропитания. Самое разумное – переждать. Вода все еще прибывает, и ветер точно будет усиливаться.

Прибывающая вода нас несколько не смущала, а вот очутиться в болотистых топях со всем походным скарбом действительно было бы неприятно. На всякий случай мы даже закупили побольше провианта. Что же касается ветра, то пророчество офицера довольно скоро стало сбываться: несмотря на совершенно безоблачное небо, он неуклонно крепчал и в конце концов достиг прямо-таки штормовой силы.

Мы раньше, чем обычно, пристали к берегу, до захода солнца оставалось не меньше часа, а то и двух. Я не стал будить своего друга и отправился обследовать тот «постоялый двор», который уготовил нам случай. Мне удалось выяснить, что наш островок размером меньше акра представлял собой широкую песчаную отмель, находившуюся фута на три выше уровня воды. Дальний конец, смотревший в сторону заката, был покрыт ключьями пены – разгулявшийся ветер срывал их с бьющихся о берег волн. Остров был треугольной формы с направленной по течению вершиной.

Я всматривался в тронутый багрецом бурлящий поток – он с грозным рычанием обрушивал свои волны на этот клочок суши, посмевавшийся разрезать его на две вспененные струи. Казалось, вот-вот наш приют не выдержит натиска воды – поток смоев его; а еще этот ветер до того свирепо гнул и раскачивал ивы, что возникала полная иллюзия, будто это земля под ними ходит ходуном... Выше по течению я мог разглядеть мили две, и зрелище было ошеломляющим. В перспективе Великая Река напоминала обледеленый склон (хотя то был не лед, то была белая, зависшая в воздухе пена), а чуть ближе все бурлило, клекотало и вспучивалось, беснуясь в лучах заходящего солнца.

Густейшие ивовые заросли начинались сразу за береговой полосой, пробираться сквозь эти джунгли было очень непросто, но я все-таки продолжил свой путь к более низкой части островка. Там, естественно, свет был менее ярким, и река выглядела более темной и угрюмой. Собственно, с этой точки мне были видны лишь гребни волн, тоже слегка вспененные, их с силой гнали порывы неутомимого ветра, дувшего против течения. Они металась меж островов, с разбегу накатывались на берег, норовя прорваться сквозь ивы, а те тут же обступали их, словно стадо доледниковых монстров, столпившихся у водопоя. «А вдруг они выпьют всю воду, – невольно подумалось мне. – Все русло загородили, вон их сколько, ненасытных, просто губки какие-то!»

Раскинувшаяся передо мной панорама во всем ее торжественном безмолвии была великолепна, я никогда не видел ничего подобного; но по мере того, как я жадно вглядывался в каждую ее деталь, странное волнение овладевало мною. Восторг перед этой первозданной красотой вскоре был вытеснен беспокойством, почти тревогой.

Видимо, разлив реки всегда вызывает чувство легкой паники: я знал, что большинство островков к утру будут затоплены; этот неукротимый бешеный поток не мог не вызывать опасения. Но в том-то и дело, что я не испытывал боязни перед непредсказуемыми капризами природы. Нет, моя тревога была вызвана чем-то иным, более сокровенным. И даже завывающий ветер, почти ураганный, которому ничего не стоило вырвать с корнем целую рощу ив, не слишком меня пугал. Просто он чересчур расшалился, ведь на этом плоском пространстве не было ни единой подходящей преграды, которая заставила бы его уюмониться; честно говоря, я чувствовал себя его сообщником в этой бесшабашной игре, которая мне даже нравилась. Нет-нет, этот забияка был неповинен в томившем меня смутном беспокойстве. Настолько смутном, что невозможно было определить его причины. Скорее всего, меня угнетала собственная ничтожность, столь очевидная в сравнении с разгулявшимися стихиями. Буйное иступление реки не могло не обескуражить... Что и говорить, я и мой товарищ проявили непростительную самонадеянность: природные катаклизмы в любой момент могли уничтожить нас. Ибо в этой грандиозной битве стихий, будоражившей мою чувствительную душу, человек был лишним.

Самым удивительным было то, что смущала меня не столько вода (если я верно себя понял), сколько ивы... Акры и акры ивовых джунглей, ивы везде и всюду – напирające на реку, готовые задушить ее, выстроившиеся тесными боевыми колоннами на протяжении многих миль, они выжидают, они прислушиваются, они выслеживают... Да, не только ветер и небо, вода и земля, но и эти шелестящие полчища исподволь вселяли в меня тревогу, подавляя своими необъятными размерами мое болезненное воображение, повсюду выискивающее сверхъестественные силы, причем далеко не благостные.

Великие творения природы особым образом влияют на каждого из нас, я много раз в этом убеждался: горы внушают благоговение, океаны устрашают, а дремучие леса заворачивают... Суть же этих подспудных инспираций едина: и горы, и океаны, и леса тончайшим образом связаны с человеком, с его естеством и жизнью. Испытываемые нами пред ликом природы ощущения вполне объяснимы, даже страх. И в сущности, подобные переживания возвышенны и благотворны.

Однако эти все вокруг заполонившие ивы вызывали совсем иные чувства – от них исходили некие флюиды, проникавшие в самую душу, пробуждая в ней смиренный трепет, но не восторга, а ужаса. По мере того как сгущался сумрак, их плотные шеренги становились все более темными, гибкие ветви иступленно и в то же время податливо трепетали от властных прикосновений ветра, а я... я почему-то все острее чувствовал, что мы напрасно вторглись в их владения – мы здесь непрошенные гости и можем дорого за это поплатиться!

Итак, докопаться до причин загадочной тревоги мне не удалось, что, однако, не слишком меня удручало. Но – странная штука! – даже занявшись таким хлопотным делом, как установка палатки, которую так и норовил снести ветер, и сооружая костер, я не мог избавиться от этого неприятного ощущения. И к моему стыду, подобной ерунды оказалось достаточно, чтобы испортить сладкое предвкушение отдыха и пахнущего дымком жаркого. Приятелю я ничего говорить не стал, поскольку знал, что с фантазией у него туговато, да мне и не удалось бы ничего толком объяснить, этот флегматик только поднял бы меня на смех.

В середине островка имелась небольшая впадина, там мы и поставили палатку, рассчитывая на то, что нависающие со всех сторон ивовые ветви будут в какой-то мере защищать нас от ветра.

– Местечко так себе, – меланхолично констатировал Свид, когда мы наконец справились с палаткой, – ни камней подходящих, ни хвороста. Давай завтра пораньше отсюда двинем, а? На этом песке палатка в любой момент может завалиться.

Мы с ним имели однажды удовольствие проснуться среди ночи под рухнувшим брезентом, что научило нас быть более предусмотрительными. С помощью испытанных ранее ухищрений мы надежно укрепили наш уютный «цыганский шатер» и отправились добывать топ-

ливо. Поскольку в ивнях валежника не водится, мы могли рассчитывать только на плавник – принесенные течением обломки деревьев. Обследуя берега, мы обнаружили, что упорно наступающая вода нещадно их терзает, с бульканьем и урчанием выгрызая огромные куски.

– Остров-то наш уменьшается прямо на глазах, – не преминул заметить мой педантичный друг. – При таких темпах его ненадолго хватит. Надо бы подтащить каное к палатке, чтобы сразу, в случае чего, отчалить. Ты как хочешь, а я даже раздеваться не буду.

Он шел в двух шагах позади меня, и я расслышал тихий смехок, сопровождавший эту тираду. Однако буквально через секунду меня остановил его возглас:

– О господи!

Я резко обернулся, но увидел только ивы.

– Что же это такое! – донеслось откуда-то из кустов, на этот раз голос Свида был далеко не веселым.

Сделав несколько шагов в его сторону, я раздвинул заросли и увидел, как мой приятель, наклонившись над водой, что-то разглядывает.

– Силы небесные, похоже, чей-то труп! – воскликнул он. – Видишь?!

На пенящихся волнах, примерно в двадцати футах от берега, действительно покачивалось что-то черное, то исчезая под водой, то вновь всплывая... И вдруг мертвец, будто нарочно, повернулся к нам лицом – глаза его светились странным желтым огнем, в них отражался закат. Потом раздался короткий всплеск – и тело погрузилось в мерцающую воду...

– Да это же выдра! – разом вырвалось у нас, и мы с облегчением расхохотались.

«Труп» оказался выдрой, надумавшей поохотиться. Но выглядела она совершенно как утопленник, потому что лежала неподвижно, полностью покоровшись волнам. Через какое-то время выдра вынырнула гораздо ниже по течению, мы увидели ее черную спинку, влажно блестящую в догорающих лучах.

Собрав плавник, мы побрели к палатке, но тут случилась еще одна неожиданность. На сей раз это действительно был человек, только вполне живой и плывший на лодке.

Увидеть на Дунае обыкновенную лодку теперь почти невозможно... тем более в этой его части, да еще в самый пик паводка. Это был сюрприз, ничего не скажешь! Мы замерли, провожая лодку взглядом.

То ли из-за слепящих бликов на воде, то ли из-за бивших в глаза солнечных лучей я толком не сумел разглядеть это «видение». Понял только, что это был мужчина – стоя, он правил к противоположному берегу широкими взмахами длинного весла. Он, видимо, тоже нас заметил, но из-за дальности расстояния и неверного освещения мы могли только предполагать... Мне показалось, что он делает нам какие-то знаки и даже что-то весьма эмоционально кричит, однако до нас донеслись лишь маловразумительные обрывки – большую часть его тирады ветер отнес прочь... Все это было довольно несуразно – и сам человек, и его нелепые жесты, и этот яростный вопль. Я решительно не понимал, что происходит, но вдруг сообразил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.